



СТЕФАН
ЦВЕЙГ

• В р е м я •





S t e f a n Z w e i g
M A R C E L I N E
DESBORDES-VALMORE

Обложка работы
М. А. Кирнарского

1930

СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. ГОРЬКОГО

И КРИТИКО-БИОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
РИХАРДА ШПЕХТА

Т О М

VIII

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

СТЕФАН ЦВЕЙГ

МАРСЕЛИНА
ДЕБОРД-ВАЛЬМОР

СУДЬБА ПОЭТЕССЫ

П Е Р Е В О Д

М. ЛОЗИНСКОГО

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я
О Ч Е Р К Е Е Ж И З Н И

ПОГИБШЕЕ ДЕТСТВО

...D'un coeur de femme il faut avoir pitié;
Quelque chose d'enfant s'y mêle à tous les âges. ¹

На самой заре столетия, в бранном 1801 году, держит путь в Вест-Индию маленькая французская каравелла, сорок дней и сорок ночей по бесконечному океану. Только отчаянные смельчаки отваживаются в ту пору на такой переход, потому что английские фрегаты хищно снуют по морям и охотятся, как за желанным призом, за каждым наполеоновским флагом. На палубе, посреди офицеров, авантюристов, комиссаров и купцов, посреди всех этих скитальцев, гонимых желанием и судьбой, — две женские фигуры, испуганно льнущие друг к другу, когда волны, словно жадные звери, прыгают через борт, две болезненные, хрупкие фигуры, четырнадцатилетнее дитя, белокурое и нежное, маленькая мадонна, и рядом с нею ее озабоченная мать. Бури сотрясают зыбкое судно, тропическое солнце палит обвислые паруса, когда, в затишье, крохотный кораблик бессильно колышется в безбрежно сверкающем зное океана. Ночью чужие звезды смотрят на нижнюю палубу, где они ходят взад и вперед, смутные и одинокие. Иногда девочка поет своим ломким, серебристым голосом

¹ Сердце женщины надо пожалеть. В нем всегда есть что-то детское.

старомодные романсы, чтобы утешить мать и изобразить веселость, которой в ее собственном сердце нет и следа.

Эта четырнадцатилетняя белокурая девочка под чужими звездами — Марселина Деборд, известная под своим позднейшим двойным именем Марселины Деборд-Вальмор, как величайшая поэтесса Франции. Она родилась на севере, в Дуэ, 20 июня 1786 года, в той фламандской окраине, которая впоследствии подарила французской речи высочайших мастеров песни: Верлена, Самена, Роденбаха, Верхарна, Лерберга. У Дебордов, старинного рода, художество в крови. Дядя — живописец, да и сам отец, чье ремесло сродни искусству, обязан неплохим достатком своему вполне придворному призванию геральдика и гербописца. Десятки лет украшал он эмблемами дворянские кареты и расцветчивал гербами и девизами всякого рода парадную утварь. Но революция разрушила дворцы, кареты стали редкостью, а гербы пошли на слом: из привольной зажиточности семья повергается во внезапную бедность, и седые сестры, нужда и забота, бродят вокруг дома. Заработок потеряян, нигде поблизости ни помощи, ни подспорья. Тогда мать, с фантастической смелостью, решает воззвать о спасении к одному дальнему родственнику, гваделупскому плантатору, о богатстве которого из-за моря доходят легенды. Не слушаясь благоразумия, пренебрегая опасностью, она собирается в дорогу и берет себе в спутницы как раз самое немощное, самое юное, самое дорогое, двенадцатилетнюю Марселину, златокудрое и нежное дитя, с бледно-розовым, прозрачным лицом, как у ван-эйковых мадонн. До гавани недалеко, но им не хватает денег на переезд. Почти целых два года скитаются они по всей Франции, прежде чем им удастся скопить и выпросить требуемую наличность. Мать беспомощна и слабосильна, и добывать хлеб, изо дня в день, приходится Марселине, двенадцатилетней. В годы беспечности, когда другие дети еще играют в куклы, она уже

должна, как бездомная Миньона, служить в актерских труппах, должна каждый день танцевать и петь своим детским, хрупким голоском, только чтобы заработать кусок насущного хлеба. И сколькими слезами орошен этот тощий ломоть! Труппа, в которую она поступила, прогорает, другой раз злая директриса бьет ее и гонит вон, и от голодной смерти ее спасает лишь сострадание сердобольных товарищей. Но они переносят все, лишь бы перебраться в страну золота, потому что ведь там их ожидает богатство, ожидает спасение. Они голодают, они нищенствуют, они мерзнут, они мыкаются по всей Франции, мать и дочь; двадцать месяцев борются они, пока, наконец, в Байонне кто-то не то дает им взаймы, не то дарит достаточно денег, чтобы они могли пуститься в опасный путь. Маленькой Марселине теперь четырнадцать лет, но ее детство безвозвратно погибло в нужде и заботах.

И вот, сорок знойных дней, сорок звездно-черных ночей плывут они по океану, туда, к этому родственнику, который должен им помочь. Но прежде, чем бросить якорь, капитан обменивается с берегом непонятными сигналами, и лицо его делается мрачным. Их ждет ужасная весть: Гваделупа уже не под французским владычеством, остров опустошен восстанием поработенных негров. И их родственник, богатый плантатор, на которого они возложили все свои упования, убит толпою одним из первых. Беспомощно стоят обе женщины на берегу, одни среди этих страшных людей и этой страшной природы. Мать не выдерживает, желтая лихорадка в первые же дни уносит отчаявшуюся, и вот четырнадцатилетняя Марселина совсем одна, вдали от родины, среди чужих, под чужими звездами, отданная на произвол незнакомых людей. Нет такого ужаса, который бы ее миновал. Город постигает землетрясение, она видит, как из твердых гор вырываются огненные столбы и как рушатся дома. На коленях умоляет

она губернатора отправить ее домой. Но проходят недели,— несказанные недели, о горечи которых не знает никто,— прежде чем ее желание исполняется, и, трижды бездомная, осиротелая, она плывет обратно на жалком купеческом корабле, снова сорок дней и сорок ночей. Она — единственная женщина на судне, и капитан, грубый пьяница, пытается воспользоваться ее беспомощностью. Он ее преследует, и испуганная девочка ищет спасения у матросов, которые поднимают своего рода великодушный бунт, чтобы защитить ее от его приставаний. Тогда, в отместку ей, он требует платы за переезд и, по прибытии в Гавр, отбирает у сироты сундучок со всем ее имуществом. В траурном платье, без денег и без друзей, пятнадцатилетняя девочка вступает в незнакомый город, но горькие испытания научили ее мужественно переносить лишения. Никому неведомо, как она затем добралась до Лиля, где она кое-кого знала. В 1803 году она вдруг всплывает там, и сердобольные знакомые, тронутые ее судьбой, устраивают в ее пользу спектакль. Извещение о том, что выступит дитя, спасшееся от гваделупской резни, собирает зрителей и приносит ей такой сбор, что наконец, после почти трехлетних странствий, она может снова вернуться в Дуэ, к своим. В невеселый дом вступает она со своей печальной вестью. Отцу живется плохо, ее брат, неспособный к серьезному труду, поступил из нужды в солдаты и сражается в Испании за Наполеона. И здесь так же темно, как и всюду. Только несколько дней отдыхает она у своих, потом спешно отправляется дальше, чтобы не быть им в тягость. Рано призывает ее жизнь: уж на тринадцатом году вся житейская нужда тяжело наваливается на ее узкие плечи и душит ее детство.

АКТРИСА

Toujours du talent, mais trop de sensibilité. ¹

Официальный отчет о театрах, 1818 г.

И вот, в эти годы, когда эстафеты привозят радостные вести из наполеоновской главной квартиры и можно, успокоившись насчет положения дел в Европе, сходить в театр, добрые граждане Лиля и Руана видят, посреди привычного скопища посредственных комедиантов и разжалованных героинь, трогательную фигуру: молоденькую девушку, нежного сложения, с застенчивыми движениями, серьезную и в то же время ласковую, стыдливую, но вместе с тем и не холодную. Миньона превратилась в Офелию, кроткую, мечтательную; но преждевременную строгость омраченного заботами лица красиво умеряет какая-то пленительная детскость, которой проникнуты каждое слово и малейший жест этой девушки. Ее внешность подкупает. Светлый, белокурый ореол осеняет лицо Марселины, о котором трудно сказать, было ли оно когда-нибудь действительно красивым. Сама она, скромная, считала себя «d'un laid aux larmes», ² а немногочисленные ее портреты неточны и не вполне достоверны. Но в отзывах выцветших провинциальных газет отчетливо оживает тогдашний

¹ Как всегда, талантлива, но слишком много чувствительности.

² До слез некрасивой.

ее облик, и, при всей их сухой напыщенности, они отмечают, в конце концов, те же стороны ее природы, которые впоследствии сказались в поэтессе. Везде и всюду, в каждом художественном воплощении, то, чем она очаровывала, были великая искренность души, обладавшей поразительным даром всякое ощущение, даже самое малозначительное, обогащать до бесконечности, и затем глубокое, внушенное ей гением, чувство музыки. К этому присоединялась еще и миловидность, озарявшая ее детские черты. Нечто неземное и мило сентиментальное было ей присуще в те годы, нечто подобное таинственной магии коротких зверей, трогательной прелести оленей, пугливой легкости ласточки, красота вроде красоты беззащитных существ, у которых природа отняла всякое оружие, чтобы зато подарить им то душевное очарование, что и трогает, и рождает сострадание. И в самом деле: беззащитные, страдающие, незаслуженно оскорбленные, вот роли, которые в те годы поручаются Марселине. Героиня, любовница она не играет никогда, потому что страсть, алчущая и великая, пафос и эмпфаза, искрометное кокетство ей чужды. Она умеет — и в этом предел и величие поэтессы и актрисы — изображать лишь то, что близко ее собственной судьбе. В те годы она играла гонимых, обиженную сироту, отверженную пастушку, Золушку у злых сестер, притесняемую невинность, любящую дочь — все эти небесно-голубые, сентиментальные девичьи образы, с которыми мы знакомы не столько даже по запыленным писаниям той поры, сколько по жеманным картинам Греза и по гравюрам в альманахах. Но в эту фальшь она вселяет душу, потому что ее уже смолоду деятельная доброта с умилением откликается даже на вымышленную судьбу. Только эта душевная отзывчивость, вторящая мощным порывом чувств малейшему человеческому трепету, делает ее значительной, как актрису. И потом: ей даны слезы, легкие и все же

подлинны, не выдавленные актерские слезы, а уже в те годы — слезы поэта, слезы, которые идут от горячего сердца и, подступая к горлу, прежде чем блеснуть на ресницах, придают голосу теплую дрожь.

Вечер за вечером появляется она у рампы, и не одну сотню пестрых судеб представила она за эти два года на радость добрым гражданам Лиля и Руана. Но настоящая ее жизнь, та, что за кулисами, однообразна и тускла, безрадостное пролетарское существование, полное трудов и лишений. Когда наверху погаснут свечи и занавес падет, усталая, она спешит домой, где ее ждут ее нахлебницы, две ее сестры, которые, еще более нищие, чем она сама, гложут ее бедную жизнь. И вот, при мигающей лампе, она еще должна шить костюмы, стирать белье, переписывать роли, чтобы хоть сколько-нибудь приработать, и ценой неслыханного самопожертвования ей удастся, при восьмидесяти франках жалованья, еще иногда посылать немного денег домой. Но среди каких лишений скоплены эти гроши! Ради своих она сплошь и рядом жертвует насущным хлебом. «Мне бросали букеты, — пишет она впоследствии, — а я, придя домой, умирала от голода и никому об этом не говорила». И весь ужас Марселины перед собственной судьбой можно понять по тому крику, с которым, двадцать лет спустя, в величайшей нужде, она отшатывается от мысли отдать свою дочь в театр: «Лучше умереть, чем дать ей пережить то, что пережила я».

Счастливый случай выручает ее из провинции. Артисты Комической Оперы, на гастролях в Руане, слышат песенку, которую она поет в какой-то пьесе, и как милая внешность Марселины, так и редкая одухотворенность ее исполнения обращают на себя их внимание. Они устраивают ей ангажемент в Париж, в Комическую Оперу, и она неожиданно попадает на новую дорогу, оказывается, без всякой школы и подготовки, певицей мировой сцены.

Гретри, великий мастер, относится к ней с отеческой любовью, называет ее «*ma chère fille*»¹ и вводит ее в свой дом, ей поручают хорошие роли, хотя ее нежный голос, собственно говоря, не вполне достаточен и грозит потеряться в обширном зале. Но музыканты, которых тоже, как и остальных ее товарищ^{ей}, покорили ее детская мило-видность и боязливая доброта ее души, нарочно, когда она поет, играют тише, чтобы не заглушать ее пения и чтобы ее лучше было слышно. Пять, шесть лет проводит Марселина на этой сцене, быстрые, загадочные годы. То, что в ней было детского, давно потонуло в приливе забот, в пучине будничных дел, но и женщина в ней еще не вполне проснулась. Ибо в ней еще не прозвучали те два голоса, которые ее пробудят для подлинного мира и вознесут ее ждущее чувство в безбрежность: любовь, и с ней поэзия.

¹ Моя дорогая дочь.

ЛЮБОВЬ

... Mon coeur fut créé pour n'aimer qu'une fois. ¹

Ей уже двадцать один год. Ее чувство, это необоримо властное чувство, расточалось до сих пор в привязанности к отцу и в самоотверженном служении сестрам и брату; теперь оно ищет чего-то большего, это повелительное «besoin d'aimer pour aimer». ² Плод ее чувства созрел. Не ведая, кому он назначен, она в эту пору страстно отдается дружбе, и приязнь ее главным образом направлена на молодую гречанку, Делию, даровитую актрису того же театра. Описания современников рисуют ее как легкомысленную, ветреную, чувственную женщину. И здесь, как всегда, притягательной силой служит противоположность характеров. В ее доме Марселина встречается с обольстителем. Здесь завязывается трагический роман ее жизни. Главу за главой, можем мы его прочесть в ее стихах, шаг за шагом можем мы следить за планом кампании, которую ведет обольститель, за тем, как слабеет ее сопротивление, за перипетиями ее чувства; ибо тем и удивительна эта поэтесса, что, застенчивая в речах и стыдливая в жизни, она до конца выдает себя в своих стихах. В поэзии ее душа была всегда обнажена.

¹ Мое сердце было создано любить только раз.

² Потребность любить ради любви.

Делия и тут, как и на сцене, играет роль соблазнительницы, а Марселина — роль невинности. Главный актер — молодой поэт, возлюбленный Делии, «Оливье» элегий. Начальную сцену мы должны себе вообразить. Однажды (быть может, Марселина только что вышла) молодой поэт, без всякой задней мысли, из веселого любопытства, спрашивает Делию о сердечных делах ее приятельницы и с удивлением слышит предательский ответ, что двадцатилетняя девушка еще совершенно невинна. Делия, с улыбкой, советует ему попытать счастья. Этот вызов кажется ему заманчивым, и они составляют легкомысленный заговор воспламенить холодное сердце. На следующий раз он подсаживается к Марселине и говорит ей слова, наполняющие ее счастьем и смятением, он говорит их своим мягким голосом, чью певучесть она прославилась в бесчисленных стихах и очарованию которого она покорялась всегда. Делия улыбается в стороне, с радостным любопытством следя за этой дозволенной изменой своего друга. Она незаметно расчищает для него путь и помогает советами в нетрудной задаче. Только позже, гораздо позже Марселине становится ясной эта легкомысленная игра, позже, слишком поздно, когда она восклицает:

... Ce perfide amant dont j'évitais l'empire,
Que vous avez instruit dans l'art de me séduire,
Qui trompa ma raison par des accents si doux,
Je le hais encor plus que vous! ¹

Но вначале она испытывает только блаженное смятение. Правда, она в то же время чует и опасность; бессознательно, инстинктивно, она содрогается перед искушением, она пытается бежать. В небе, полном счастья,

¹ Этот вероломный любовник, чьей власти я бежала, которого вы наставили в искусстве меня соблазнить, который обманул мой разум своим нежным голосом, ненавистен мне еще больше, чем вы.

дальними зарницами сверкает мрачное предчувствие: «Je l'ai prévu, j'ai voulu fuir». ¹ Но ее ясная воля уже не хочет возврата. Правда, она ищет спасения возле своих сестер и поверяет свой страх песням и поэзии, которая впервые в ней расцветает под этим зноем чувств; но судьба уже неотвратима, она обречена.

J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu.
Ma vie, en se formant, fut promise à la tienne;
Ton nom m'en avertit par un trouble imprévu,
Ton âme s'y cachait pour éveiller la mienne.
Je l'entendis un jour, et je perdis la voix;
Je l'écoutai longtemps, j'oubliai de répondre:
Mon être avec le tien venait de se confondre;
Je crus qu'on m'appelait pour la première fois. ²

Все настойчивее становятся его домогательства. Он беседует с ней в присутствии Делии, она не решается ему отвечать. Она бежит из этого дома (по ее стихам мы можем шаг за шагом проследить всю сцену), чтобы укрыться от него, вернее, от самой себя, от собственного желания.

Je fuyais tes regards, je cherchais ma raison...
Je voulais, mais en vain, par un effort suprême,
En me sauvant de toi, me sauver de moi-même. ³

Он выходит следом за ней. Они в первый раз одни, она — испуганная, робкая, с бьющимся сердцем, он — рассудительный и расчетливый. С неподражаемой ловкостью касается он той струны ее сердца, которая одна пока еще звучала, — страдания. Он знает, что ее доброта сильнее всякого влечения, и полагается скорее на ее сочувствие, чем на свои страстные мольбы. Он представляется печальным, меланхоличным, изображает мировую скорбь и разочарованность, и она, многострадальная, забывает страх, потому что видит его страдающим и знает, что значит

¹ Я это предвидела, я хотела бежать.

² См. стр. 88, стихи 1 — 8.

³ См. стр. 91, стихи 18 и 25 — 26.

страдание. Утешить его становится для нее долгом. Она перестает его избегать, и главы ее романа быстро следуют одна за другой. Они улавливаются о свидании. Все ее существо стремится ему навстречу, тщетно берет она книгу, чтобы обмануть нетерпение; ее сердце говорит громче и заглушает все слова:

... Ah! ne sais-je plus lire?

Tous les mots confondus disent ensemble: «Il vient!»¹

Она не может больше читать, она не может больше жить, она не может больше дышать, она не может больше спать. Но все эти муки она любит ради него, она любит эту бессонницу, проникнутую думами, думами о нем:

Je ne veux pas dormir. O ma chère insomnie!

Quel sommeil aurait ta douceur?²

И когда он приближается, она уже не в силах бежать, его близость магнетически удерживает ее:

Hélas! je ne sais plus m'enfuir comme autrefois!³

Ей уже ясно, что она всецело в его власти и что ее чувства охвачены той великой бурей, которую иной раз, на сцене, она видела неистовствующей в чужой судьбе. Ее страх давно уже не похож на сопротивление, это всего лишь страх перед новым, страх перед счастьем. Она с ужасом сознает, что его воля над ней всесильна и что уже не она еще сопротивляется концу. Он может взять ее, когда хочет, она это чувствует, она это знает. И ее возглас:

Ma soeur, je n'avais plus d'appui que sa vertu⁴ —

выражает всю ее судьбу.

Он больше не колеблется. Мгновение — и менее опытный понял бы это — настало. Он неотступен и страстен.

¹ См. стр. 88, стихи 14 — 15.

² Мне не хочется спать. О, моя милая бессонница! Какой сон был бы так сладостен, как ты?

³ Увы! я уже не умею бежать, как когда-то.

⁴ Сестра, моей единственной поддержкой была его добродетель.

Ее слезы останавливают его, еще одну короткую, последнюю секунду, но его мягкий голос, этот голос, очарованию которого она всегда вновь и вновь покорялась, разнимает ей руки, и она чувствует, как ее душа отлетает в первом поделуе:

*J'ai senti fuir mon âme effrayée et tremblante;
Ma soeur, elle est encor sur sa bouche brûlante! ¹*

Ни чувства, ни разум уже не борются, прошлое и будущее тонут в непомерном мгновении, вспыхивает страсть:

Et tout s'anéantit dans notre double flamme! ²

И вот из ее стихов вырываются экстазы, огненные снопы восторга. Как невольник на свободу, кидается она в темницу этой страсти. Только тот, кто никогда не знал счастья, только женщина, у которой все детство, как у Марселины, было омрачено трагической печалью, может до такой степени загореться упоением. Она, никогда не предвкушавшая любви ни в играх, ни в мечтах, как другие, пьянеет от жгучего напитка его губ, она ликует в своем блаженном бессилии, ей сладко содрогаться от звука его голоса. Почти нестерпимой кажется ей его близость, у нее едва хватает сил сносить «le bonheur assaillant!» ³ его присутствия. Но насколько ужаснее безумие разлуки! Ей больно от избытка счастья, но она просит еще и еще. Все глубже погружается она в любовь:

*Tu ne sauras jamais, comme je sais moi-même,
A quelle profondeur je t'atteins et je t'aime! ⁴*

Все выше взмывает ее восторг, он сносит все преграды рассудка, и вся ее душа неудержимым потоком устремляется в новое чувство.

¹ Я чувствовала, как отлетает моя испуганная и трепещущая душа. Сестра, она доныне на его пламенных устах!

² И все исчезло в нашем обоюдном пламени.

³ Гнетущее счастье.

⁴ См. стр. 94, стихи 16 — 17.

ТРАГЕДИЯ

Il n'aimait pas: j'aimais! ¹

24 июня 1810 года чиновник парижского магистрата заносит в городские книги имя новорожденного младенца мужеского пола и делает многозначительную приписку: отец неизвестен. Свидетелем выступает один из друзей Марселины, потому что «Оливье», таинственный возлюбленный, повидимому, не склонен заявить о себе публично. От узаконения их отношений он уклоняется под тем предлогом, будто его отец никогда не согласится на его брак с актрисой. В действительности же он только о том и думает, как бы отделаться от обременительной связи. Марселина, в упоении любви и материнского счастья, не догадывается о постепенном охлаждении его страсти. Она пылает к нему всем своим душевным жаром; полная забот о нем, она еще напутствует бегущего самыми нежными пожеланиями, потому что он ей объявляет, что должен уехать, чтобы повидать отца, уговорить его:

Partir! tu veux partir! oui, tu veux voir ton père ...
Va dans tous les baisers d'un enfant qu'il adore
Lui porter les baisers de l'enfant qu'il ignore;
Mets sur son coeur mon coeur, mon respect, mon amour;
Il est aussi mon père, il t'a donné le jour! ²

¹ См. стр. 100, стих 8.

² Уехать! Ты хочешь уехать! Да, ты хочешь повидаться с твоим отцом... Снеси ему в поцелуях ребенка, которого он обожает,

На самом же деле неверный отправляется в Италию и долго отсутствует. Известия от него приходят скупо; но она, бесконечно добрая, доверчивая, еще не подозревает всей правды. Случайно она узнает о его возвращении и одновременно с этим слышит ужасную весть: что он уже давно находится в связи с другою женщиною. Как хлынушею кровью, она исходит сознанием:

Malheur à moi! je ne sais plus lui plaire! ¹

Ей внезапно становится ясна вся трагическая действительность, и она с содроганием видит и свою ужасную ошибку, и ту комедию, которую с ней сыграли. Она сознает, что и на этот раз, как столько раз в театре, она свое собственное, бесконечное чувство отдала игре. Грудь ее разрывается от отчаяния. Но кому ей жаловаться, кому? Делия, ее подруга, предала ее, всех остальных людей она забыла, отдавшись всецело этому одному. В своей сердечной муке она бросается в объятия сестры, и к ней обращены бессмертные стихи отчаяния, где пронзительные крики первой боли еще не растопились в струящемся металле слов. Резкие и горячие от ее крови, эти крики, словно княжалы, пронизывают трепетные строки:

*Ma soeur, il est parti! ma soeur, il m'abandonne!
Je sais qu'il m'abandonne, et j'attends, et je meurs,
Je meurs. Embrasse - moi, pleure pour moi... pardonne...
Je n'ai pas une larme, et j'ai besoin de pleurs.
Tu gémis: que je t'aime! Oh, jamais le sourire
Ne te rendit plus belle aux plus beaux de nos jours! ²*

поделуи ребенка, которого он не знает; положи ему на сердце мое сердце, мое уважение, мою любовь; он тоже мой отец, он дал тебе жизнь!

¹ Горе мне! Я больше не умею ему нравиться!

² Сестра, он уехал! Сестра, он меня покидает! Я знаю, что он меня покидает, и жду, и умираю. Я умираю. Обними меня, плачь обо мне... Прости... У меня нет ни единой слезы, а мне

Она знает, что он для нее потерян навсегда, но она не хочет этому верить. Она просит, она умоляет обмануть ее, подарить ей надежду, потому что правды она не в силах вынести. Она словно падает на колени перед своей сестрой и молит ее, молит о благочестивой лжи:

Sans retour! le crois-tu? Dis-moi que je m'é gare;
Dis qu'il veut m'éprouver, mais qu'il n'est point barbare;
Dis qu'il va revenir, qu'il revient... Trompe-moi,
Mais obtiens qu'il me trompe à son tour comme toi.
Va le lui demander, va l'implorer... ¹

И при этом она знает, что он у другой, она это знает, она это видит. В долгие, бессонные ночи эта картина всплывает совсем рядом с ней:

Oh! comme il la regarde! Oh, comme il est près d'elle!
Comme il lui peint l'ardeur qu'il feignit avec moi! ²

И она бежит его, бежит его взглядов, его движений, она уезжает к своим сестрам, в провинцию, в одиночество. Она покидает театр, она зарывается в свою печаль, где-то в глухом углу Франции. Вокруг нее рушится империя, под Лейпцигом гремит битва народов, казаки вступают в Париж, но этого не чувствуется в ее стихах, в ее письмах. Судьбы ее народа, время и пространство, все это для нее, истинной женщины, ничто в сравнении с чувством. Она знает только то, что она его любит, все еще любит,

надо плакать. Ты стонешь; как я тебя люблю! О, никогда еще улыбка не делала тебя такой прекрасной в самые прекрасные наши дни!

¹ Безвозвратно! Неужели ты так думаешь? Скажи мне, что я ошпабуюсь; скажи, что он хочет меня испытать, но что он не изверг; скажи, что он вернется, что он скоро будет... Обмань меня, но сделай так, чтобы и он тоже обманул меня, как и ты. Ступай к нему, проси его, умоляй его об этом...

² О, как он глядит на нее! О, как он с нею близко! Как он ей изображает страсть, которую разыгрывал передо мною!

хоть она давно уже разгадала его дерзкую игру. И лишь для того, чтобы спасти свою гордость, чтобы оправдать свое чувство, сугубо верное неверному, она старается отыскать за собой какую-нибудь вину. Она пытается найти причину в себе самой. Напрасно. Она ищет и ищет, с рабским смирением, и все же ей поневоле приходится сказать: нет.

L'ai-je trahi? Jamais! Il eut mon âme entière;
Hélas! j'étais étreinte à lui comme le lierre. ¹

Но, несмотря на все, ей не удается его возненавидеть, почувствовать к нему злобу. Она покорно признается:

Ah! je ne le hais pas, je ne sais point haïr, ²

и вскоре ей становится ясно, что это больше, чем ненависть; со стыдом, униженная, уничтоженная, она сознает, что, несмотря ни на что, все еще чувствует к нему любовь. В страхе поверяет она это стихам, в страхе перед самой собой:

Ma soeur, je l'aime donc toujours!
Quel aveu, quel effroi, quelle triste lumière. ³

И как она счастлива, когда слышит, что он болен, как счастлива, что этот предлог позволяет ей снова любить его:

Comment ne plus l'aimer, quand il n'est plus heureux! ⁴

Наконец, после двух лет борьбы, она убеждается, что в ней нет никакой суровости, никакой ненависти и никакой борьбы, ничего, кроме желания, единственного,

¹ Обманывала я его? Никогда! Вся моя душа принадлежала ему. Увы, я обвивала его, как плющ!

² Ах, я его не ненавижу, я не умею ненавидеть.

³ Сестра, так значит, я все еще люблю его! Какое признание, какой испуг, какая печальная очевидность!

⁴ Как не любить его, когда он несчастен!

пламенного, жгучего желания снова увидеть его. Она мечтает, она молит о примирении, она обращается к своей сестре, обращается даже к Делии, которая ее предала, лишь бы вернуть его к себе. Она сдается на его милость, она облегченно сбрасывает с себя свою гордость:

Fierté, j'ai mieux aimé mon pauvre coeur que toi. ¹

Он дает себя упросить. Она его увидит. И как только она узнает, что ее желание исполнится, на нее нападает прежний страх. Она колеблется, она ищет извинений и наконец находит их:

*Dieu! sera-t-il encor mon maître?
Mais, absent, ne l'était-il pas?* ²

Она понимает, что новый союз будет уже не тем счастьем, как прежде, счастьем упоения и страсти, а счастьем в слезах, счастьем недоверия; но она радостно берет на себя это бремя, хоть и знает, как оно будет тяжело. Как пленница, встречает она своего возлюбленного. Она попрала и гордость, и стыд, она трепетно склоняет шею перед этим счастьем унижения:

*Prenez votre victime et rendez-lui sa chaîne.
Moi, je vous rends un coeur encor tremblant d'amour.* ³

Он поднимает ее с колен, начинается короткая интермедия примирения. Но эта совместная жизнь, скрепленная покорностью и состраданием, длится недолго. Скоро он опять покидает ее, и теперь это уже разлука навеки. Он отдается новым похождениям, его образ теряется в без-

¹ Гордость, мое бедное сердце было мне дороже, чем ты.

² Боже! Неужели он опять будет моим властителем? Но разве он не был им и в разлуке?

³ Возьмите вашу жертву и верните ей ее цепь. Я вам возвращаю сердце, еще трепещущее от любви.

вестности. Марселина берет своего ребенка, последнее свое достояние, и снова возвращается в жизнь. Убежище ее любви разрушено, но зато возникла новая сила, утешение в несчастье: в ней родился поэт. Ее чувство, отвергнутое одним, обращается теперь ко всему, крылатые стихи выносят на простор ее одинокую муку, ее долго сдержанные слезы превращаются в звонкий кристалл.

ОБОЛЬСТИТЕЛЬ

Mon secret c'est un nom. ¹

Музыка разомкнула уста ее муке. Каждое легчайшее биение ее сердца стало строфой, каждый взлет и каждый упадок чувства она всю свою жизнь, и притом всегда в пламенный миг переживания, исповедовала лирически. Нагим и непокрытым отдавала она ветру мира каждый трепет своей страсти, каждый позор своей души, но до смертного часа ее губы оставались неумолимо замкнутыми, когда дело касалось имени, имени того человека, который пробудил в ней эту бурю. Она выдала о себе все. Но не его, который ее предал.

Вот уже пятьдесят лет, как история французской литературы тщетно гонится за этой единственной тайной Марссливы, Сент-Бев, ее друг и доверенный, впереди всех. Авторы диссертаций и комментариев рыщут по всем ее путям в поисках жизнеописаний, чтобы где-нибудь напасть на имя этого «Оливье». Сквозь свет и тьму, сквозь многообразно цветущие заросли ее стихов вся эта стая кидается на каждый след, нечаянно оставленный ею в пути. Они обнюхивают каждый вздох, они откапывают каждую упавшую слезу. Но, удивительным и почти непостижимым образом, ее смиренная воля, глубокая стыдли-

¹ Моя тайна — имя.

вость ее молчания и пиэтет ближайших родственников до сих пор оказываются сильнее, чем их суетные старания. Никаким другим именем его попрежнему нельзя назвать, как «Оливье», тем именем, которое она ему дает в своих стихах и с которым она к нему обращается в двух дошедших до нас любовных письмах. Через семьдесят лет — библейский век — после ее смерти, тайна все так же глубока и неразгадана, как в любой час ее жизни.

То немногое, что удалось о нем выведать, мы знаем от нее же самой, поведавшей свою страсть в стихах. Одна строка свидетельствует, что он был поэт, уже рано известный в ближайшем кругу; в другом месте устанавливается его возраст, а именно, что он был на три года моложе ее; многие строфы славят его удивительный, нежный, проникновенный голос, который ее вновь и вновь опьянял; а в письмах говорится, что он поехал в Италию и там заболел. Но самое примечательное указание, которое, при установлении тождества, должно иметь решающую силу, дано в одном стихотворении. Там сказано, что в их именах имеется одно общее. Она говорит:

Ton nom . . .

Tu sais que dans mon nom le ciel daigna l'écrire, ¹

и затем еще раз:

On ne peut m'appeler sans te jeter vers moi,

Car depuis mon baptême il m'enlace avec toi. ²

Легко себе представить, как жадно вся эта стая кинулась разведывать в этом направлении. Marceline, Félicité, Josèphe, таковы три ее имени, и таким образом в параде второго имени должно было встретиться одно из них. Это

¹ Твое имя . . . Ты знаешь, что небу угодно было вписать его в мое.

² Меня нельзя назвать, не бросив тебя ко мне, потому что со дня моего крещения оно связывает меня с тобою.

и некоторые иные отдаленные доказательства склонили большинство к тому, чтобы считать ее избранником Анри де Латуша. В имени Hyacinthe - Joseph - Alexandre Thabaud de Latouche «Жозеф» служит соединительным звеном к имени Марселины, призвание его также отвечает искомым признакам, ибо он был поэтом и уже в то время довольно видным, и даже третье обстоятельство неоспоримо, а именно то, что, молодым человеком, он два года провел в Италии и что Жорж Санд восхваляет его «мягкий и проникновенный» голос. Сент-Бев, любопытный и нескромный в делах любви (это он преждевременно огласил письма Мюссе, доверенные ему Жорж Санд), хотел и тут снискать дешевую славу человека, который первый, еще при жизни Марселины, выведal ее тайну. Он желал удостовериться и для этого прибег к хитрости, которую нельзя назвать особенно благородной: злоупотребляя тем, что ему было известно от одного приятеля ее лучшей подруги, который намекал на Латуша, как на предполагаемого любовника Марселины, он поспешил воспользоваться смертью Латуша, чтобы обратиться к Марселине с иезуитски искусным письмом, где (как будто он и сам не знал его коротко) он спрашивал у нее сведений об его характере. Он втайне надеялся, что на этот робкий стук она распахнет все двери сердца, что эта прямодушная, героическая и порывистая женщина проронит хоть в какой-нибудь строчке более или менее откровенное признание в своем давнишнем чувстве.

И Марселина Деборд-Вальмор, эта удивительная душа, не задумывается прочесть реквиem над человеком, который когда-то был деятельным поборником ее стихов и раздобыл ей первого издателя. Ее письмо, памятник человечности и восхитительной доброты, сохранилось по сей день, и мы можем прочесть его здесь. Для исследователей-психологов оно является последним и решающим доказа-

тельством, ибо Марселина, охваченная прекрасным и трудно сдерживаемым волнением, хоть и говорит здесь о Латуше с суровостью и раздражением, но укоряет скорее собственное свое чувство и с мольбой простирает к Сент-Беву руки, чтобы удержать его от строгого приговора. Она рисует все, что было опасного в Латуше, этом циничном человеке, личному творчеству которого мешал избыток остроумия и иронии; но и в отрицательном она находит заслугу, хваля его за то, что он далеко не причинил всего того зла, какое мог, и его тайная мука, по ее словам, щедро искупает все те слезы, в которых он повинен. Книжным ученым и дилетантам сердца эти слова о слезах, в которых он повинен, кажутся достаточным доказательством. Как палачи, они ликуя подслушали этот заглушенный крик, и с тех пор в доброй дюжине книг не умолкают шепот и шушуканье: Латуш, Латуш.

В самом деле: видимые доводы тяжело ложатся на чашу весов. Но на другую чашу упадет безмерный груз и вновь подымает кверху мутный балласт догадок и вероятий. И этот груз — самая личность Марселины Деборд-Вальмор, чьи человеческие свойства скованы и одушевлены беспримерной и почти грозно повышенной прямою и правдивостью. Едва ли мыслимо считать ее способной на такой жалкий обман, как ввести этого человека, будто чужого, в дом к Вальмору, своему мужу, который знал ее прошлое из ее слов, писем и стихов и видел в Брюсселе могилу ее добрачного ребенка. И трудно допустить, чтобы она, такая чуждая всякому притворству, могла вдруг унизиться в своих письмах к Латушу до смиренной и учливой почтительности, она, писавшая «Оливье» самые пламенные и самые безудержные во всей французской лирике стихи и слова. Тайна ее ясного сердца здесь так же доказательна, как и все доводы разума.

Но если действительно, как все настойчивее, следуя голословной молве, утверждают исследователи, этим «Оливье» был Латуш, тогда эта трагедия оболыщенной девушки служит лишь вступлением к другой, еще более жестокой трагедии, трагедии матери, и ничего смелее и жесточе не отважился бы измыслить ни один роман. Ибо этот Латуш, который, на двадцать втором году жизни, был знаком с Марселиной и исправлял орфографические ошибки в ее ранних стихах, ведь это — чудовищная мысль! — тот самый, который, под маской благородного и сострадательного друга семьи, двадцать пять лет спустя, пытается оболыстить Ондину, дочь Марселины, и та (ее письма трепещут от ужаса) лишь с трудом защищает ее от него. Чтобы тот самый Латуш, которому она тайно родила сына, похороненного на кладбище под чужим именем, чтобы он, четверть века спустя, замыслил соблазнить ее дочь, — это такое представление, которое мое чувство почти отказывается воспринять. Правда, тогдашние ее письма к мужу, который дружественно гостил у Латуша, полны отчаянных предостерегающих криков. И действительно, может ли для матери быть что-нибудь ужаснее, чем мысль о том, что ее родное дитя готово стать жертвою того самого человека, что и она когда-то? Правда, она заставляет своего мужа потребовать от Латуша обратно ее давний портрет. Но откуда у нее, у незлопамятной, этот гнев, через двадцать лет, откуда эта запоздалая осторожность у всегда беспечной? Вопреки всем приведенным вероятностям, мое чувство невольно отстраняет этого Латуша, и именно его, пока какой-нибудь случай не принесет, взамен намеков, решающего доказательства.

Пусть они ищут дальше: я не знаю ничего прекраснее, чем то, что это имя все еще не найдено, что великая тайна ее сердца не разоблачена неопровержимо. Ибо какой малостью было бы добытое: именем, пустым звуком

в воздухе, беглым сочетанием слогов, по сравнению с глубоким символом анонимности, по сравнению с тем, что и для нас, как и для нее, он — ничто, безымянное переживание. Он был только зовом, той властью, которая ей предстала, той формой, в которую хлынула ее давно накопившаяся любовь, той глиной, которую разбивают, после того как она даст облик горячему литью. Для ее дальнейшей жизни он не имеет никакого самостоятельного значения, и на нем нет никакой вины. Потому что если он шалит с ее сердцем и нечаянно вызывает это неистовое пылание, то он так же безответствен, как ребенок, который, играя со спичками, устраивает пожар. Единственным деянием этого «Оливье» было то, что он приблизился, что он был ее часом. Ему достаточно было указать ей ту глубину, в которую, блаженно пенясь, могло наконец низринуться ее чувство, так долго запруженное сором забот и накипью лишений, и он уже исполнил свою судьбу, ее судьбу. Он дал ей случай полюбить, и этим его значение исчерпано. Как он себя при этом держал, — безразлично, потому что его власть над ее чувством на этом кончается. Он мог ее затем бросить или обидеть, снова к ней вернуться и снова ее покинуть, но чувства ее он уже не мог ни усилить, ни обуздать, оно уже было вне его воли и сознания. Он мог только умножить ее боль или радость, изменить ее настроение, но уже не мог ничего уничтожить, уже не мог втиснуть обратно в почку распутившийся цветок ее страсти, этот чудесный, пурпурный и неувядаемый цветок, который он, играя, раскрывал небрежными пальцами.

Мы можем догадаться, что влекло его к ней, мы можем понять, что его манило. Еще сладоутнее, чем пробудить раннюю страсть в подростковом, казалось ему разжечь в этой замкнутой, немолодой уже девушке огонь, погребенный под пеплом забот и печалей. И еще легче можем мы

понять, что отстранило его от нее. Он хотел игры, он хотел этой пугливой девушке, изгнанной из садов детства всеми духами нужды и лишений, подарить первые плоды ласковых слов. Но пробудившаяся — уже не та. Из ее худенького тела вырывается пламя восторга, ее кротость превращается вдруг в вакхическое упоение страсти, она с неожиданным неистовством прижимается к изумленному другу с какой-то дикой жадой, словно хочет испить от него одного все блаженство небес и земли. Он ищет возлюбленной, а находит любящую, он хочет увидеть женщину, удивительную, многообразную, вечно новую, а она — пламенная, всегда одна и та же. Он хочет наслаждения, а она дает ему любовь. Он хочет часов, а она предлагает ему всю бесконечность. Мы ясно видим из ее собственных признаний, что он испугался ее безмерного самозабвения, вулканического взрыва ее любви, ибо для нее, для немущей, которая никогда ничем не обладала на земле, чувство становится миром и ширится в ней до беспредельности. Чрезмерность — единственная ее мера в любви: она вечно горит, каждое слово, каждое движение воспламеняет ее. Слезам отвечает она на всякую малость, слезами восторга, безутешными рыданиями. Слезы — единственный ее язык в любви. Перед ним, холодным ловлясом, — вечно влажные взоры, вечно трепетное лицо; у нее есть только этот ответ, только он один:

L'amour jamais n'eut de moi que des larmes. ¹

Слезы, слезы — ее мир; «pleurs» ² и «larmes» ³ — наиболее частые рифмы в ее стихах. Ее страсть причиняет боль, она слишком горяча, она оналяет, она сжигает. Тщетно пытается она сама, сознавая эту чрезмерность, укротить себя и ч-

¹ Любовь видела от меня только слезы.

² Плач.

³ Слезы.

тает о более спокойном наслаждении. Она и сама была бы рада взять от любви веселье, научиться ей, как игре:

Je voudrais aimer autrement.
Pour moi l'amour est un tourment,
La tendresse m'est douloureuse. ¹

И эта противоположность между ним, играющим, и ею, иступленной, все возрастает по мере того, как длится их связь. Ей не удается себя умирить, ему не удается подняться до нее. Он, взманивший ее, уже не поспевает за нею. В том эфире чувства, куда она хочет его увлечь, он, равнодушный, задыхается без воздуха. И вот он восстает против этого ига. Против ее доброты он борется жестокостью, против ее пламенности — холодом. Но она защищена своей любовью, и ее оружие — прощение. Он глумится над ней неверностью, и она ему прощает; он мучит ее ложью, и она ему отпускает; он бежит ее, но ее любовь не сдается. Все глубже растет в нем потребность доискаться самого дна ее доброты, испытать ее самоотречение, как испытывают бога. Но ему удастся только разрушить ее жизнь, сделать ее несчастной; он остается бессильным перед демонической силой этой любви, которой он уже не может ни обуздать, ни уничтожить. Если он вколачивает ей в сердце пеназпсть, если он вливает ей в грудь отраву презрения к самой себе, жгучую горечь муки, то ее чувство все это жадно впитывает и превращает снова в любовь, которая способна лишь возрастая, но ослабеть не может. Что бы он ни делал, все над нею бессильно, и даже его исчезновение не делает ее беднее. Едва ли в мировой литературе найдется более прекрасный пример той невероятной власти, которую первый оболститель получает над всею жизнью женщины, тот первый, который размыкает ей тело и затаенное в ее крови чувство

¹ Я бы хотела любить по-другому. Для меня любовь — страдание, нежность мне мучительна.

зовет наружу, к ее губам. Ибо этот человек — или уже мечта о нем — поглощает в жизни Деборд-Вальмор все благороднейшие силы любви, все божественное, безмерное, избыточное. То, что она дарит потом, это — размеренная доброта, благодарность, уважение, чувственность, но всегда лишь единичное, никогда уже не тот стихийный порыв всего ее существа, не это извержение ее женственности. Позже другой человек идет с нею рядом, она ему верная жена, но и в его объятиях она сознает:

*Je ne sais pas comme on oublie.*¹

Только высочайшая искренность позволяет ей осуществить это редкое и все же такое правдивое чудо двойственной любви, потому что уже старой женщиной она в иные минуты чувствует, что принадлежит не избранному ею мужу, а тому, призрачному. Словно зарницами, из тех далеких далей, очарование вновь и вновь озаряет ее давно успокоенную жизнь; пятидесяти лет, во время многотрудной театральной поездки с мужем в Италию, она испытывает перед новыми местами одно лишь трепетное чувство: что тридцать лет тому назад здесь звучали «его» шаги, и неожиданно из одного ее письма к подруге, писанного в 1836 году, вырывается крик признания: «Единственная душа, которую я хотела бы попросить у бога, не пожелала моей». Никогда, ни в радости, ни в горе, не может она забыть того, первого. Верная мужу, она, благодарная, верна и чувству, она никогда не отрекается от того далекого и уже почти мифического бога своего детства, который создал из нее женщину; в Вальморе она любит, верною любовью, мужа и отца своих детей, а в исчезнувшем, в «Оливье», такую же верною любовью, — призрак своих сновидений, избыток своего собственного чувства. В «Оливье», в обольстителе, она всю свою жизнь любит любовь.

¹ Я не знаю, как забывают.

ПОКИНУТАЯ

Toutes les humiliations tombées sur la terre
à l'adresse de la femme, je les ai reçues. ¹

Полине Дюшанж

В тот день, когда возлюбленный ее покинул, она покидает Париж. Она надеется, что вдали легче перенесет разлуку с ним, и бежит от желанно-ненавистой его близости в Брюссель, где в Théâtre de la Monnaie получает ангажемент, и к тому же превосходный. Вначале на нее мало обращают внимания, потому что в трех часах от города гремят пушки Ватерлоо и крушение империи заглушает слова и пение. Мировая трагедия слишком громка и близка, чтобы можно было прислушиваться к поддельному грому сцены.

Но вскоре ее с изумлением замечают. Ее искусство созрело в пережитом, из расширенной болью груди полнзвучнее вырывается драматический вопль. Лишь теперь становится она героиней. Ее облик, когда-то умевший воплощать только детскую застенчивость, простодушие и робость, теперь трепещет чувственностью и страстью, ее скорбный голос почерпает в глубинах сердца удивительную звучность, а произносимые стихи одушевляет мелодический ритм ее поэзии.

¹ Все унижения, выпавшие в этом мире на долю женщины, я испытала.

Но для Марселины Деборд-Вальмор успех никогда не означал счастья. Она воспринимала его только как шум, как далекий гул, но никогда не телесно, не как волну, на которой бы возносилась или падала ее жизнь. Она уклоняется от всех искушений, она замыкается от мира, она цепляется за единственное, что у нее осталось, за свое дитя:

Gage adoré de ses tristes amours, ¹

и ищет в невинных чертах дорогое и чуждое лицо. Она хочет сузить, ограничить, замуровать свою жизнь. Но судьба удивительно враждебна к ней. Какое-то проклятие наслано на нее неведомым богом, отказывающим ей в покое. Ее плодоносная боль должна оставаться вечно расплавленной, и судьба будоражит ее вновь и вновь, подобно тому как перемешивают струющийся металл, чтобы он не дал шлаков и не застыл слишком рано в холодных формах. Вечно дается ей новое, но всегда лишь на время, вечно что-нибудь дарится, во что могла бы вращать ее страсть, и затем вырывается у нее, чтобы мучительно взрыть недра ее души. Жизнь почти не дает ей вздохнуть, до того громоздится смерть в ее судьбе. Ее подруга, единственная, которая ее навещает и беседует с ней в эти дни, вслед за тем и ее отец внезапно умирают, а спустя несколько недель грозная болезнь постигает последнее, что у нее есть, пятилетнего сына. Целых два месяца она, как безумная, борется с роком, но напрасно:

*Après soixante jours de deuil et d'épouvante ²
Je criais vers le ciel: Encore, encore un jour!
Vainement! J'épuisai mon âme tout entière.
...Je criais à la Mort: Frappe-moi la première!*

¹ Дорогой залог его печальной любви.

² После шестидесяти дней горя и ужаса, я воззвала к небу: „Еще, еще хоть день!“ Напрасно! Я истощила всю свою душу.

Vainement! Et la Mort, froide dans son courroux,
...En moissonnant l'enfant, ne daigna pas atteindre
La mère expirante à genoux.

Мальчик умирает. За один год она лишилась всего,
что подарила ей судьба

J'ai tout perdu! mon enfant par
Et . . . mon ami par l'absenc

Ее отчаяние неописуемо. Из ее писем вырываются дикие крики, которые уже ни о чем не молят, кроме смерти. Она опять так же бедна, так же одинока, как тогда, когда, в черном платье, сиротой, стояла на Гаврской пристани, но только теперь еще больше, потому что ее жизнь обессилена безвременной утратой ребенка, а душа растерзана пренебрежением возлюбленного. Только теперь, когда она познала обладание, лишение становится болью. Напрасно ищет она конца. Она пытается спастись от мира бегством. Как монахиня в келье, она хоронит себя заживо. Она ничего больше не хочет иметь, ни о чем не хочет слышать, ни к чему не хочет привязываться, раз у нее все отнимают. Краткие часы спектаклей — единственные, когда она говорит с людьми, да и то это не ее слова, а заученные. Каждый живой человек для нее враг, каждый взгляд делает ей больно, потому что все становится сравнением и воспоминанием. Кубок полон. От этих лет сохранилось стихотворение «Les deux mères»,² которое трогательно рисует, как даже самый невинный повод растревает раны страдальцы. На улице к ней приближается ребенок, ласково подбегает к ней с протянутыми

Я взывала к Смерти: „Порази сначала меня!“ Напрасно! И Смерть, холодная в своем гневе, скосив дитя, не захотела поразить мать, умирающую на коленях.

¹ У меня отнято все: ребенок — смертью, и друг — разлукой.

² Две матери.

ручонками, а она чуть ли не на коленях умоляет это чужое дитя не подходить к ней, потому что оно для нее — воспоминание:

... Vous qui m'attristez, vous n'avez en partage
Sa beauté, ni la grâce où brillait sa candeur,
Enfant; mais vous avez son âge:
C'en est assez pour déchirer mon coeur! ¹

И кажется, что со смертью ребенка кончилась и ее молодость. Тень страдания ложится на ее глаза; она, и раньше не веселая, становится мрачной и угрюмой. Обильные слезы смыли налет юности с ее лица, голос стал ломким и отказывается петь. Ее одиночество бесконечно. Она живет в мире, как покинутая Ариадна на пустынном Наксосе, в сетованиях и в молитве. Вакх, пламенный бог упоения, ее покинул, любовный хмель исчез, и теперь она ждет лишь одного: смерти. Она уже слышит ее приближение, уже простирает к ней руки, чтобы погрузиться из этого мира в вечный мрак. Но она не знает, что тот, кто приближается окрыленным шагом, это Тезей, освободитель, который снова уведет ее и живую жизнь.

¹ Ты, что меня печалишь, ты не обладаешь ни его красотой, ни прелестью, в которой светилась его невинность, дитя; но ты одних с ним лет; этого довольно, чтобы разорвать мне сердце.

ВАЛЬМОР

Il n'y a rien de si sincère que
mon coeur. Je ne puis plus le
donner qu'en donnant ma vie. ¹

В героических и страстных ролях в ту пору выступает на сцене молодой актер Вальмор, которого брюссельские зрительницы вскоре прозвали «красавцем Вальмором». Отпрыск знатной семьи, племянник генерала империи, павшего в сражении под Красным, он посвятил себя театру исключительно в силу артистического влечения. Слишком поздно вступив в мировую историю для того, чтобы сражаться на жизненной сцене под знаменами Наполеона, он хочет быть героем и конкистадором хотя бы в театральных ролях. Он на семь лет моложе ее, актерские дарования его посредственны, но все же он подкупает своей рыцарской внешностью и своей почти надменной прямоотой. В пьесах они часто подают друг другу любовные реплики, он домогается, она противится, и из этой живой привычки обмениваться заимствованными чувствами постепенно вырастает своего рода близость.

А кроме того — в биографии Марселины всякий эпизод непременно мотивирован драматически — эти два актера, по воле случая или предопределения встретившиеся на подмостках провинциального театра, эти две чужие

¹ Нет ничего искреннее, чем мое сердце. Я могу его отдать, только отдав мою жизнь.

жизни уже сталкивались однажды, много лет тому назад. За шестнадцать лет до того, когда юная Марселина собиралась на Гваделупу и, чтобы заработать несколько франков, выступала на сцене в Бордо, она там, в одном знакомом доме, качала на коленях маленького мальчика. Она болтала с ним, радовалась тому, какой он милый и разумный, и еще тогда обменялась с ним невинным братским поделуем. Их губы знают друг друга: этот мальчик из Бордо, этот давно забытый маленький приятель, это — Вальмор. Воспоминание об этом эпизоде детства быстро завязывает дружбу между взрослыми.

Но Вальмор отвечает на дружеское чувство живым увлечением, и в нем постепенно растет желание связать себя прочными узами с чтимой женщиной. Он еще не решается открыться, он боится слов. Красивая мужская гордость удерживает его от бурного признания, которое может вызвать ее испуг и быстрый отказ. Осведомленный об ее несчастье, он, быть может, знает, что ее отрешенность от мира сердце надо возвращать к доверчивости шаг за шагом, мягкой рукой, как больного. И он выбирает наиболее осторожную форму слова: письмо. Хоть он и видит ее каждый день, он пишет ей письмо, в котором заявляет себя готовым доказать искренность своих чувств супружеской любовью.

Марселина получает письмо; она пугается и не хочет верить обращенным к ней словам. Она глядится в зеркало: ее щеки изъедены солью слез, острый резец страдания проложил борозды возле ее глаз, она чувствует себя поношенной, отцветшей и негодной. От роду ей тридцать один год, а внутренне и гораздо больше, ему же, юному, двадцать четыре, — как же ей можно его связывать, когда сама она привязана к воспоминанию и к скорби, которая ей кажется неутолимой? Ибо и в этот счастливый миг она чувствует, что ее сердце ничего не в силах забыть,

что Оливье, этот образ неведомого, вечно горит в ее душе. Она решила быть верной, быть недоступной. И все же, так удивительно манит еще раз начать жизнь с начала, еще раз подняться к свету из этой неоглядной бездны горя и лишений!

Она отвечает Вальмору письмом, которое отклоняет и в то же время колеблется. Оно хочет выразить отказ и все же боится стать бесповоротным. Она просит его пощадить ее. «Не старайтесь внушить мне любовь, — я столько страдала!.. Я — печальная, я не создана для того, чтобы любить». Она предостерегает его еще и еще раз, она отрицает для себя возможность нового чувства и однако же доказывает ее своей боязнью нового испытания и своей просьбой пощадить ее. Она говорит ему, что готова покинуть Брюссель, если ее присутствие ему тягостно, она предостерегает и отклоняет. И все же, она не находит ни одного слова, которое бы резко сказало: «нет». Ибо слишком нов, слишком чудесен для обездоленной этот пезнакомый трепет — впервые не только любить, но и быть в самом деле любимой.

Вальмор неверно ее понимает. Он думает, будто ее уклончивый ответ означает, что он слишком ничтожен для нее, для прославленной актрисы, первой в театре. Он еще не знает всей глубины ее безрадостности. Он хочет удалиться, но она уже зовет его обратно. Она спешит ему ответить, спешит уверить его, как искренне она его уважает, и в ее похвале уже звучат первые ноты сердечной склонности. Вальмор становится увереннее, он домогается уже настойчивее и горячее. Все мягче становится тон ее писем, все уступчивее. Она все еще не хочет верить, что ее снова желают вернуть к жизни, и однако уже верит этому. Она стыдится своего непостоянства, того, что, после такого большого чувства, она так скоро оказывается способной на новое чувство, и однако уже

всеми силами жаждет его. Счастье стало ей таким чуждым, что она страшится его и почти готова звать обратно свою скорбь:

Je tremble d'être heureuse et je verse des larmes;
Oui, je sens que mes pleurs avaient pour moi des charmes
Et que mes maux étaient mes biens. ¹

Она сознает, что не может забыть, но чувствует себя достаточно сильной, чтобы, даже неся рану в сердце, соединиться с другим человеком. Она его предостерегала, она предостерегает его до последнего мгновения. Она прямодушно изображает ему всю свою жизнь, но он желает ее сильно и пламенно, и, почти ликуя, она, наконец, соглашается.

Трогательно читать в этих ее письмах, до чего она стала чужда счастью. Эта неожиданная перемена—для нее чудо. Она никак не может уразуметь, она с трудом воспринимает это забытое слово, это потерянное чувство. Словно она из тюрьмы, шатаясь, выходит на свет, и глаза ее ослеплены, она не решается взглянуть. «Как? Так, значит, жизнь, это—счастье?» — лепечет она в своем письме, на следующий день после свадьбы. «Я счастлива. Как раскрывается моя душа при этом слове, которое я забыла, которого я не знала... никогда!» «Я не знаю, где я, скажи мне, где я, мой дорогой!» «О, дай мне прочесть еще одно такое дорогое письмо, которое жжет мне сердце!» Она лепечет, она шатается все эти первые дни. И что всего чудеснее, всего невероятнее, так это то, что это счастье длится всю жизнь. Потому что первое ее переживание сделало ее другою. Теперь она более способна осчастливить человека, потому что она смирилась. Она уже не хочет объять весь мир, она уже не хочет быть

¹ Я страшусь быть счастливой, и я плачу; да, я чувствую, что в слезах для меня была прелесть и что мои муки были мне благом.

счастливой, но, как истая женщина, хочет только дать счастье. Отныне она уже ничего не жаждет для себя, все только для него. И вот у них начинается на долгие годы изумительная борьба, борьба смирения со смирением. Оба они чувствуют себя недостойными один другого. Он сознает ее превосходство, как актрисы, как поэтессы, чувствует ее человеческое благородство и склоняется перед нею. Она же ощущает только одно, чудесное, с вечно новой благодарностью: что он моложе ее, на семь лет, и радостно подарил ей свою лучезарную молодость, и она склоняется перед ним. Он поднял ее к жизни и из ее отмершего тела воззвал детей, и за это она благодарит его день за днем. Письма стареющей женщины горят тем же пылом, что и в день свадьбы, а он, чтобы хоть раз заговорить ее языком, нескладно выражает свои чувства в стихах. Ни одно из ее любовных стихотворений не так трогательно, быть может, как эти стихи, пробужденные ею, как эта неумелая попытка простого и искреннего человека уложить слова в рифмы, чтобы и ей послужить на ее же лад. Нестерпимый страх, что он, младший годами, ее, стареющую, может обмануть и презреть, что любовь может опять ее оттолкнуть, блаженно исчезает. День за днем она все сызнова изумляется тому, что все еще любима, и восхищается его душевной честностью. Она остается вечно удивленной тем, что и для нее есть любовь, вечно благодарной. Наконец-то она может себя отдать, расточить, приносить в жертву, день за днем, и страшная бедственность внешней ее жизни делает эту жертву беспрерывной.

Иногда все же легкая тень прошедших времен падает на ее счастье. Вальмор втайне глубоко страдает, постоянно чувствуя, насколько тот, другой, не забыт. Он надеялся, что ему, снова научившему ее любви, она вместе со своей жизнью посвятит и свое творчество. Что образ того, другого, который ее мучил и презирал, по-

меркнет в обновленном счастье. Но Марселина Деборд-Вальмор неспособна ко лжи. Ее творчество, возникающее из давней были, превратившейся в мечту, имеет, повидимому, свои сокровенные законы, против которых она сама невластна. Уже в годы замужества она пишет и издает свои скорбные элегии к Оливье, к некогда любимому, и Вальмор, которому отдала вся ее живая любовь, должен наблюдать за печатанием стихов, обращенных к другому. Вряд ли можно измыслить более удивительную пытку для мужа. Но творчество сильнее, чем ее сознательная воля. Не счастье вдохновляет эту женщину, а трагическое, только слезы рождают в ней слово, и потому ее стихи обращены к тому, кто воззвал ее чувство к любовной муке, а к тому, кто ее осчастливил, почти никогда. В Вальморе она любит мужа, супруга, а в Оливье—самое любовь, источник страдания, в котором ее сокровеннейшее счастье. В своей бесконечной искренности она свидетельствует, что в жизни женщины вдвойне достаточно места для любви, для любви действительной и для любви идеальной, и что незабытое, телесно давно умершее, остается недостижимо сокрытым в глубочайших недрах женского чувства, что переживания не отмирают с пережитым. Она видит, что Вальмора мучат ее признания, но она не властна над своим творчеством: в ней искренность могущественнее воли. Она безоружна перед собственной поэтической силой. Ей хотелось бы рассеять в нем эту ревность к стихам: «Ces poésies qui pèsent sur ton coeur». ¹ Как писательница, она всегда присоединяет к своему девичьему имени его имя, называет себя Марселиной Деборд-Вальмор, чтобы открыто оповестить об их союзе. Она пускает в ход все маленькие хитрости сердца, она обвиняет себя в преувеличении и несомненно искренна в минуту отча-

¹ Эти стихи, которые тяготят твое сердце.

яния, когда прокликает свое творчество, потому что оно сеет между ними разлад. Зато как она счастлива, когда и она может ему что-нибудь простить. Поздно уже, сорока семи лет, он сознается ей, пятидесятипятилетней, что он нераз ее обманывал. И, почти осчастливленная, отвечает она ему в удивительном письме: «Разве не было бы чудом, если бы ты избежал искушений, которые перед тобою ставили твой возраст и случайности нашей профессии? Ты, безусловно, самый честный человек на свете, которого я знаю, и я хочу, чтобы ты раз навсегда оценил, как должно, эти случаи, которых ты не искал и которые ничем не умалили нерасторжимости наших уз. Я не сержусь на тех, кому ты нравился, дорогой мой муж. Разве не приходилось им прощать мне самой, что я твоя жена и, откровенно говоря, не заслуживаю такого счастья?» Так, с добротой и чистосердечностью, они вновь и вновь укрепляют связь, которая их соединяет; даже бедность, вечная и нестерпимая их спутница, неспособна отравить их чистую жизнь. Ее самоотречение находит все новые формы для своих порывов, чтобы приять, наконец, благороднейшее из своих обличий: она уже не притязает на любовь, во имя нового счастья — любить его по-новому и по-иному. Уже мерцает снег в ее волосах, и она окружает Вальмору, своего мужа, удивительной материнской нежностью. Он становится для нее как бы старшим ребенком, с которым больше всего забот, которому она старается приискать место, которого она охраняет, лелеет и поддерживает советами. Этого плохого провинциального актера, который нигде не может устроиться, которого в Руане освиствуют, а в Париже никуда не принимают, ей приходится все время утешать, успокаивая его болезненно уязвленное тщеславие, ей приходится тридцать лет кряду скрывать от этого сомнительного комедианта, и все же хорошего человека, что это

она своей работой и мучениями поддерживает всю семью. И только когда у него проходит артистический угар и он получает скромную должность в библиотеке и становится просто отцом и мужем, наступает нечто вроде покоя в растерзанном доме. В позднейших письмах к страстному чувству все чаще примешиваются заботливые советы, супружество превращается в материнство и семейственную близость. И дальность их лет, опасная разница в возрасте, превращается, благодаря ее доброте и смирению, в еще большую близость и в еще более задушевный союз.

КОЧЕВНИЦА

Depuis l'âge de seize ans j'ai la
fièvre et je voyage.¹

Горе и лишения теперь изгнаны из ее сердца. Но они не расстаются со своей излюбленной жертвой и окружают ее жизнь снаружи. Тщетно ищет себе актерская чета какое-нибудь гнездо. Брюссельская труппа вскоре распадается, они устремляются в Париж; но Вальмор, чья посредственность, как актера, с уходом юности обнаруживается все нагляднее, оказывается здесь помехой к совместному ангажементу. Волна снова уносит их в провинцию, от побережья к побережью, долгие годы скитаются они там, взметаемые всеми бурями невзгод, двадцать, тридцать лет, нигде не оседая, отовсюду опять гонимые. Днем и ночью, с маленькими детьми и всем домашним скарбом, кочуют они из города в город, снова и снова грузятся на повозки все их имущество, снова и снова контракты и увольнения, надежды и разочарования. На несколько лет задерживаются они в Лионе, но это — привал на вулкане, потому что промышленный город лихорадочно взбудоражен восстаниями рабочих, на улицах расстреливают людей, и у населения быстро пропадает охота к комедии.

¹ С шестнадцати лет у меня лихорадка, и я путешествую.

Мечта об искусстве давно отлетела, это уже только суровое ремесло, которым они заняты ради детей, заработок, неискренний промысел, потерявший последнюю прелесть, благодаря недоброжелательству и зависти. Даже между ними самими грозит вспыхнуть разлад, потому что все очевидней разнятся успехи Марселины от сомнительных триумфов ее мужа; но эта опасность представляет желанный случай доказать, насколько велико ее самопожертвование. Она быстро решается и покидает сцену, перестает быть героиней, чтобы стать отныне просто хозяйкой и матерью, героиней будней. Несчастья и дети утомили ее тело, надломали ее голос. Чувствительная к пренебрежению, равнодушная к славе, она давно уже устала ежедневно отдавать свои слезы чужим людям; ей становится страшно, когда вечером зажигаются свечи, страшно заполнять гримом морщины лица, и не успела она порвать с театром, как уже в восторге от своего решения. «Не играть на сцене, это такое счастье, которое я чувствую до слез».

Теперь он, Вальмор, глава семьи, кормилец и охранитель. У него прибавилось забот, но возросло и чувство собственного достоинства. Сначала он еще борется в больших городах, но после того, как его освистали в Лионе, избегает лучших сцен и бродит по провинции. Первые годы Марселина попрежнему ему сопутствует, но затем дети требуют ее присутствия, и она только издали может ободрять его письмами. Она нежно умалчивает ему о тысяче забот, которые разрывают ее день и похищают у нее ночь. Потому что она изо дня в день ведет героическую борьбу, чтобы обеспечить себе скудное существование; эта великая портесса, которой Франция обязана прекраснейшими, незабываемыми стихами, во все эти годы лашенный — единственный работник в доме. Она шьет детям платье, она стирает, она штопает, она стряпает; ночью,

после всех трудов и забот, она пишет сентиментальные новеллы и романы, чтобы заработать несколько франков. Она тридцать лет работает, как отчаянная, она продает свою последнюю драгоценность, свое обручальное кольцо; она ищет мест, она чуть ли не просит милостыни, и на этой беднейшей из бедных еще висят другие обузы. Брат, в английском плену, неотступно клянчит денег, и ей приходится выкраивать из ничего, чтобы послать ему малую лепту; родные в вечной нужде, она помогает и им; в лионские тюрьмы она несет последний хлеб со своего стола. Она неделями не отсылает писем, потому что ей нечем их оплатить. Она часто остается дома, потому что ее платье и обувь слишком плохи для улицы. Единственное ее утешение, это — стихи, которые она сочиняет за работой, склоняясь над пяльцами, и песенки, эти удивительные детские песенки, которыми она убаюкивает Ипполита, Ондину и Инесу, своих детей.

И притом: как невелики ее желания! Они уместились бы в ореховой скорлупе: тишина, немного покоя, немного солнца и чуточку зелени. Она мечтает — как другие о венцах и каретах — о тихом деревенском доме, о скромном домашнем счастье, о совсем простой жизни. Только, чтобы рядом был муж, только знать, чем будет завтра жить, только не видеть, как он устало приходит домой, опозоренный и измученный провалом в каком-нибудь жалком местечке, и не быть обязанной каждый день, с нечеловеческим напряжением, вымучивать из себя улыбку, чтобы его встретить. Но она должна оставаться кочевницей, двадцать, тридцать лет под ряд. Она взывает к богу:

*Défendez aux chemins de m'emmener encore!*¹

Но дороги уведат ее дальше. По всем странам должна она скитаться, и ноги ее изранены. В почтовой карете,

¹ Запрети дорогам уводить меня дальше!

на пути в Италию, где Вальмор должен играть с одной труппой, она пишет дрожащей рукой:

Oh! les arbres du moins ont du temps pour fleurir,
Pour répandre leurs fruits, pour monter, pour mourir;
Moi, je n'ai pas le temps; ma tâche est trop pressée.
Dieu! laissez-moi goûter la halte commencée;
Dieu! laissez-moi m'asseoir à l'ombre du chemin,
Mes enfants à mes pieds et mon front dans ma main!
Je ne peux plus marcher.¹

Но бог ей не внимлет. Даже в Париже, ей, пятидесятилетней женщине, все еще нет покоя. Четырнадцать раз переезжает она с квартиры на квартиру, всякий раз изгоняемая нуждой, всякий раз только шестой или седьмой этаж оказываются ей хоть сколько-нибудь по средствам. И ноги ее изранены. Она считает ступени в каждом доме, где она живет, сто ступеней, сто двадцать, сто тридцать, и у нее вырывается крик ликования, когда она, наконец, может сообщить своим друзьям, что поселилась на улице Сент-Оноре на двадцать семь ступеней ниже. «Жить в третьем или четвертом этаже, это было бы моей мечтой», вздыхает она. Маленький балкон с несколькими цветами заменяет ей зелень, о которой она мечтает, в каких-нибудь двух, трех комнатах теснится ее жизнь, жизнь ее мужа и троих ее детей. Все ее силы уходят на отвратительную, мелочную борьбу за какие-нибудь двадцать, тридцать франков, которых всякий месяц недостает, она все время в плену у мелочей и до того отвыкла от настоящих денег, что, когда, однажды, друзья выхлопаты-

¹ Ах, у деревьев, у тех, по крайней мере, есть время цвести, ронять плоды, возноситься, умирать; а мне некогда; мне приходится слишком спешить. Господи, дай мне вкусить начатый роздых! Господи, дай мне посидеть в тени у дороги, подперши голову рукой, и чтобы мои дети были у моих ног! Я больше не в силах идти.

вают ей, в виде королевского подарка, четыреста франков пенсии, она ликует по поводу «inondation d'argent». ¹ И притом все эти заботы, всю эту нужду она старается скрыть от мужа. В 1842 году она пишет: «Все свои женские способности, всю свою изобретательность, все, что можно придумать в смысле слов и умолчаний, я употребляю на то, чтобы скрыть эту великую и смиренную борьбу от моего дорогого мужа, который не вынес бы ее и неделю. Ценою моих унижений я спасаю его гордость, и только в той жизни он узнает, какими невинными хитростями, какими слезами, оставшимися между богом и мною, я до сих пор скрывала от него печальную тайну хлеба, который еще ни разу не отсутствовал на столе ни у него, ни у наших детей. И от холода они тоже не страдали». Но затем она снова восклицает: «Нужда убивает нас... Я задыхаюсь от мелких денежных забот, которые гложут мою жизнь, как моль — шерсть».

Так тянется десять лет, двадцать лет, тридцать лет. Она уже и сама не понимает: «Как же это так? — пишет она. — Работать дни и ночи, и не иметь возможности существовать?» При этом Вальмор, которому все театры отказывают, сам ничего больше не зарабатывает. На пятьдесят четвертом году жизни она ничего не может найти «pour inventer leur existence». ² Это постоянное банкротство. Правда, у сына есть уже небольшой заработок, но этого мало, и вот ей приходится идти на последнее унижение, ей, гордой, отклонившей денежную помощь госпожи Рекамье, приходится обращаться во все министерства, ко всем друзьям, обивать пороги театров, чтобы добыть какую-нибудь работу Вальмору, чтобы спасти гордость этого человека, который, под тяжестью всех этих разоча-

¹ Денежный поток.

² Чтобы придумать, как им существовать.

рований, изливается в самообвинениях и давно утратил былую бодрость. Наконец, удается его устроить в Национальную Библиотеку, на небольшую должность с месячным окладом в двести франков. Криком радости встречает Марселина это назначение; но уже другая забота готова прийти на смену заботам денежным и житейским.

В ее жизни нет ни одного светлого, беспечного дня, и было бы невыносимо описывать сочувственной рукой ее судьбу, не будь страдание движущей силой ее души и кипучим родником ее творчества.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Peut-on être juste et ne pas plaindre tout ce qui respire? De là souvent ces élans d'imprudente pitié qui m'ont fait croire à des fausses larmes. J'aime mieux en avoir été victime que sentir mon coeur se briser.¹

Только страдающие знают, что такое страдание: и Марселина Деборд-Вальмор, глазами сестры, всюду угадывает человеческое несчастье. На нее, и без того почти задавленную заботами, еще и все остальные наваливают свои заботы. Она не знает, как раздобыть себе и детям хлеба на завтра, а тут у нее еще просят денег брат, отставной солдат, безработный дядя, старик-свекор. И она дает, раньше чем взять себе. Ее знают во всех министерских приемных, вечную просительницу. То она ходатайствует за бедную вдову, отставную актрису, то хлопочет об освобождении несчастного заключенного, то изнашивает подошвы, раздобывая пятьсот франков на обратный путь молодому итальянцу, но никогда не просит для себя. Надо почитать ее письма: сама вечно бедствующая, она — вечная заступница во всех людских скорбях;

¹ Разве можно быть справедливой и не жалеть все то, что дышит? Отсюда нередко эти порывы неосторожной жалости, которые заставляли меня верить притворным слезам. Мне легче стать их жертвою, нежели чувствовать, как у меня разбивается сердце.

своими литературными связями она пользуется исключительно для того, чтобы облегчить чужую нужду.

Потому что чуждая нужда для нее тяжелее собственной. Когда в Лионе вспыхивает восстание,¹ она пишет удивительные слова: «Стыдно есть, стыдно быть в тепле, стыдно иметь два платья, когда у них нет ничего». Суровость суда, всякий его приговор повергают ее, для которой существует только кротость, в безутешное отчаяние. «Когда я вижу эшафот, я готова уползти под землю; я не могу ни есть, ни спать». И когда однажды, при одном из своих бесчисленных переездов, ей приходится поселиться напротив тюрьмы, то она не решается смотреть в окно. Она не в состоянии понять, как можно наказывать, вместо того, чтобы прощать. «Галеры! Боже мой! Из-за шести франков, из-за десяти франков, за вспышку гнева, за горячее, упрямое мнение...» Ее сердце не в силах этого постичь: для нее (говоря по-русски) всякий преступник всего лишь «несчастный», а всякому несчастию она чувствует себя сродни. Поэтому, сама гонимая, сама преследуемая, она направляет всю силу своей воли на то, чтобы помочь. Однажды, в какой-то тюрьме, она проникает к начальнику, чтобы просить об освобождении заключенного; и когда из этого дома, где всюду запоры и решетки, она выходит с хорошими вестями, она облегченно вздыхает: «Я была почти на небесах, когда вышла оттуда». В театрах она просит ролей для отставленных, у короля — за вдову; и когда Мартен, ее земляк, становится министром, она пишет ему на родном наречии, чтобы его задобрить. Усталая и больная, она встает с постели, чтобы спасти одному своему знакомому просроченную закладную; как ни слаба она, всякий призыв к состраданию неизменно придает ей силу, потому что

¹ См. прим. к письмам от 29 ноября 1831 г. и 6 мая 1834 г.

здесь затронута самая подлинная ее сущность. Утешать— для нее жизненная потребность; благотворя, она всю безмерную силу своего чувства, которое когда-то отверг любимый, изливает на всех отверженных.

Эта ее зоркость к страданию ни с чем несравнима. Прочтите ее описания Италии: она в первый раз в Милане, но она видит не мощеные мрамором улицы с их каретами, как Стендаль, не сладострастно-чувственный воздух юга; первый же ее взгляд видит множество нищих у церковных дверей, ободранных детей, кварталы нищеты; она угадывает все то горе, которое робко ютится под этой роскошью. Встречаясь с каким-нибудь стародавним обычаем, она всякий раз обращает взоры на тех, кто обездолен; у нее нет выбора, потому что на все кругом она смотрит сквозь умление. При восстаниях, ее сердце заодно с вечно побеждаемым народом, с «удивительным, чудесным народом». «Бедный народ,— восклицает она однажды, — удивительный в своем мужестве, и на этот раз достиг только того, что умер за своих детей... Мы принадлежим к народу, своими несчастиями и своими убеждениями». Только отверженных любит она по-настоящему, сама отверженная. И может быть именно потому, что она так ласково, так отзывчиво чувствует страдание, к ней со всех сторон, словно на зов, доверчиво тянутся всякие несчастья. Она — духовник своих подруг, она — утешитель своего мужа, которому она своей трогательной ложью помогает оправляться от театралных неудач; ее квартира всегда полна людей, которые от этой неимущей вечно чего-то ждут, хотя бы благодетельного сочувствия. «Ни одна мелочь из того, что тебя мучит, для меня не безразлична», — пишет она как-то подруге; она жаждет утешать и с бесконечной любовью вбирает в себя все страдания. Хоть она и сама преисполнена горя, у нее всегда найдется место и для чужой печали, всегда найдется

слезы; состраданием она словно спасается от собственных забот. Не находи она исхода в чужих печалях, она задохлась бы от своих.

Но ни неблагодарность, — а с ней она встречается часто, — ни несправедливость никогда не вызывают чувства гнева в ее кроткой и терпеливой душе. Она неспособна к озлоблению. Мы знаем, как она простила Оливье, который вверг ее в глубину несчастья; и даже против тех, кто ее настоящие враги, против богатых, против жестокосердых, против себялюбивых никогда не сжимается ее рука. «А они, богачи, власть имущие, судьи! — восклицает она однажды. — Они идут в театр, после того как сказали: Казнить!» У нее вырывается только этот крик ужаса, в ней нет действительного, яростного возмущения, потому что она не умеет ненавидеть и просто не понимает такого рода людей. Они ей чужды, все те, кто не знает сострадания, кто никому ничего не дает. «Нет, богатые чувствуют не так, как мы, Полина, — пишет она подруге; — теперешние богачи являются к вам и рассказывают о своих несчастьях с таким глубоким простодушием и с такими горькими жалобами, что поневоле приходится жалеть их гораздо больше, чем самих себя».

Нет, богатые чувствуют не так, как она, вечно бедствующая, и она не понимает богатых. Она неспособна понять человека, который таится и оберегает себя, который не изливается в мягкой радости помогать и дарить. Из своей безысходной нужды она только вчуже взирает, без ненависти, без горечи, на этих холодных и замкнутых, как на людей, которые не совсем такие, как она, потому что им недостает как раз того, в чем единственное ее богатство: изливающегося милосердия, вечно расточающего себя чувства. И в сокровеннейшей глубине своего всепрощающего сердца она даже, быть может, жалеет безжалостных, как самых бедных среди бедных.

ПОЭТЕССА

Moi, seule en mon chemin
et pleurante au milieu,
J'ai dit ce que jamais femme
ne dit qu'à Dieu.¹

Отверженница судьбы, изгнанница счастья, «спария любви», Марселина Деборд-Вальмор была, и как поэт, не богата. Царственная сокровищница языка оставалась для нее замкнутой всю жизнь. Горячую плоть своих стихов ей никогда не удастся украсить сверкающими, искрометными, переливчатыми самоцветами редкостных слов, затейливыми прясками чеканных сочетаний, вековыми богатствами унаследованных или перенятых культур. Чтобы купить свободу своему чувству, у нее нет ничего, кроме мелкой монеты обиходной речи, словаря обывателя, чуть ли не ребенка. Марселина Деборд-Вальмор — самоучка, и образование ее скорее ниже среднего уровня того времени. За свою недолгую юность она училась мало, поздно поступила в школу:

... Je ne savais rien à dix ans qu'être heureuse.²

Жизнь рано оторвала ее от детства, и нужда и заботы выбили у нее книги из рук. Судьба никогда не оставляла ей

¹ Одинокая странница, плачущая в пути, я говорила о том, о чем женщина говорит только богу.

² В десять лет я только и умела, что быть счастливой.

досуга, чтобы пополнить свое образование. Эта великая поэтесса не владеет даже самым малым, правописанием. Добрую долю ее стихов приходилось подчищать перед тем, как сдавать в печать, а в ее письмах ошибки против языка кишат, как рыбы в пруду. Всякое чужеземное слово для нее камень преткновения. В одном из своих писем она говорит об «экиноксах», которыми были вызваны сильные ветры, и, в душевном смирении, озабоченно сопровождает диковинное слово таким извинением: «Я это повторяю с чужих слов, потому что ты ведь знаешь, что я не ученая, не учение деревьев, которые гнутся и выпрямляются, сами не зная, почему». Искусство Марселины Деборд-Вальмор безыскусственно. Рифмы ее бедны, образы едва ли не те же, что можно встретить у синих чулков и дилетантов, слащаво-романтические сравнения с цветком, колеблемым дыханием ветерка, с облетающей розой, с ласточкой, которая ищет себе гнездо, с молнией, сверкающей среди ясного неба. Форма ее стихов довольно однообразна, и уже сонет, при скудости ее рифм, для нее слишком труден. В своем искусстве она бедна. Для обмена на чувство, на драгоценное чувство, у нее нет ничего, кроме стертых медяков обыденной речи, ничего, кроме неприхотливых слов, которые, как говорит Рильке, «прозябают в буднях», маленьких, простых, чудесных слов, «*les mots, les pauvres mots, les mots divins qui font pleurer*». ¹ И свое поэтическое достояние она тоже добывает себе сама; поэтом делает ее не язык, не перенятое от других, а только то, что она извлекает из собственной груди, бесконечное чувство, и затем — верховная сила всего его существа: музыка.

Марселина Деборд-Вальмор вся — музыка, потому что вся она — душа. Ей дарована та высшая власть, та и зем-

¹ Слова, бедные слова, божественные слова, от которых плачешь (Шарль Герен).

ная, и неземная власть, которая из семи звуков, из октавы, созидает целую вселенную восприятий. Самые холодные, самые трезвые слова становятся прозрачными и пронизанными огненным ритмом чувства. В ее стихах мы никогда не встретим ничего построенного, ничего очерченного, ни изображений, ни воссозданий, никаких проблем, никаких конструкций: все — текучее, режущее, звучащее, легкое, все — музыка, преобразование. Она одухотворяет самую бедную из рифм, самое смиренное из слов, и все это, трудно добытое, сплетает в блаженный венок.

В музыке и сущность, в музыке и причина ее творчества. Ибо не честолюбие, не подражательность привели ее к поэзии, как других. Марселина, в молодые свои годы, любит гитару. Ее тонкий слух запоминает мелодии, которые она слышит в театре, которые она слышит на улице, и так как она слишком бедна, чтобы покупать книги, где она могла бы найти слова, то, в долгие часы одиночества, она сама сочиняет дома меланхолические романсы и небольшие песенки к звучащему внутри нее напеву. Незаметно, совершенно бессознательно, как тянется к небу полевой цветок, из этой невинной игры вырастает подлинное влечение, страсть к поэтической исповеди. А когда ее голос начинает слабеть и она вынуждена бросить пение, она целиком переходит от напеваемого к писаному, к произносимому слову. «Музыка, — пишет Сент-Бев, — начала превращаться в ней в поэзию; слезы запали ей в голос, и, однажды утром, элегия сама расцвела у нее на устах». Долгие годы она слагает стихи не для мира, она просто поет, чтобы усыпить свою боль, «*pour endormir son pauvre coeur*». ¹ Утратив мать, утратив ребенка, осиротевшая в любви, она сама себе придумывает утешение в песне.

¹ Чтобы убаюкать свое бедное сердце.

Она сама почти не сознает, что она слагает стихи, она всю свою жизнь не понимала, что она — «поэт». Ей давит грудь, закипает боль и грозит разорвать ей сердце, эта боль подымается все выше и душит, но для ее губ это уже мелодия. Она стонет, она плачет, она молится, она жалуется в своих стихах, и то, что другие женщины поверяют в церкви духовнику, что растворяется в поцелуях или одиноко тонет в слезах и жалобах, все это здесь, благодаря музыке души, становится полетом и освобожденной мелодией. Она всегда разговаривает только сама с собою; погруженная в свой призрачный мир, она произносит монологи и совершенно забывает о том, что ведь и другие могут услышать ее голос. Поэтому-то ее стихи так неслышанно искренни, так вполне бесстыдны. Они — лишь изливание чувства, когда жизненная оболочка, напряженная болью, вдруг разрывается внутренним волнением. Эти стихи — нередко лишь крик, иногда жалоба, иногда молитва, но всегда — одухотворенный голос. Это не что-либо найденное или сочиненное, это просто — вылившееся, случайное, ибо гений Марселины Деборд-Вальмор — гений непосредственности. Напетые за шитьем, среди трудов и забот, или занесенные на пестрых крыльях сна, эти стихи слетают к ней, подобно легким мотылькам. Они никогда не бывают вызваны магией воли, в них нигде не чувствуется тяжести умысла, это почти не что иное, как мелодически движимый воздух. Стихотворение «Ma chambre»,¹ — разве не чистый вздох, исчезающий в музыке? Вслушайтесь в него, в эту молитву бедной души, чающей утешения:

Ma demeure est haute,
Donnant sur les cieux;
La lune en est l'hôte

¹ См. стр. 85.

Pâle et sérieux.

En bas que l'on sonne,
Qu'importe aujourd'hui?
Ce n'est plus personne,
Quand ce n'est pas lui!

. . . Vis-à-vis la mienne
Une chaise attend:
Elle fut la sienne,
La nôtre un instant;
D'un ruban signée,
Cette chaise est là,
Toute résignée,
Comme me voilà!

В этой искренности — высшая и исключительная ценность ее стихов. Именно потому, что они ничем не обременены фантазии, а всем — только пережитому, эти стихи так женственны. Это — душевные времена года, и никогда еще, от дней Сафо, нам не было дано так глубоко и ясно заглянуть, сквозь покрывало стихов, в женское сердце, увидеть, такой обнаженной, душу в водоеме чувства. Смушение, застенчивость, страх, стыд и осторожность (ведь она говорит во сне), все это ей чуждо. Мы, словно в чужую комнату, украдкой заглядываем в ее жизнь. Но она, обнаженная, так чиста, так благородна и целомудренна, что мы, подсматривая, не чувствуем стыда. Мы знаем ее сокровеннейшие переживания и знаем поэтому переживания всех женщин, благодаря этой одной, которая была искренна; и таким образом к ценности поэтической для нас присоединяется неопределимая документальная ценность. Ибо беспримерно в мировой литературе это блаженное чудо последней искренности, благодаря которому из маленьких песен, строка за строкой, мы можем построить целую женскую судьбу, целую биографию из стихов, причем нигде не окажется ни единого слова лжи, ничего

прикрашенного или лицемерного. Здесь мы можем созерцать, во всей его неомраченной чистоте, то чудо кристаллизации чувства, которое обычно тает от света и постижения, таинство беременности, трепет первой любви, сумерки старости, трепет и счастье от нового ощущения двойной любви, муку отчужденности от детей, которых уводит жизнь, излияние чувственной любви в любовь к богу, в религию. Ни у одного поэта чувство не было до такой степени прозрачным, не было до такой степени само поэтом, как в стихах Деборд-Вальмор, и возражение Сент-Бева — для нее высшая хвала: «Elle n'est plus poète, elle est la poésie même». ¹ Не она — творец, а чувство как бы творит сквозь нее.

Музыка принесла ей стихи, музыка их же уносит от нее в мир. Подруги и посторонние кладут на ноты ее песенки; она изумлена, ей не верится, что они вдруг улетают в мир, окрыленные. Как некогда с любовью, так и теперь со славой: не привыкшая к счастью, она не может с ней освоиться, не может поверить, что эти стишки, которые она сочиняла за работой, полу-играя, полу-во-сне, имеют какую-то ценность, какое-то значение. Ведь творчество было для нее только опиятом, небольшой радостью в великих страданиях, самообманом, своими восторгами и муками похожим на любовь:

Comme une erreur plus tendre elle a sa volupté, ²

и вдруг приходят люди, великие, знаменитые поэты и празднуют это, как литературу. Сент-Бев приветствует ее стихи гимном; Бальзак, приветливый колосс, задыхаясь и пытая, взбирается к ней по ста тридцати ступеням, чтобы выразить ей свое восхищение; Виктор Гюго восторгается ею еще мальчиком. Со слезами и трепетом отвергает

¹ Она уже не поэт, она — сама поэзия.

² Как в более нежной ошибке, в нем есть наслаждение.

она все похвалы, как незаслуженные, ей чудится чуть ли не насмешка в этом поклонении света, как некогда в поклонении Вальмора. Никакая слава не может ее отучить от все той же глубочайшей скромности. Она «*stupide de joie*»,¹ когда ей скажут несколько приветливых слов; а когда Ламартин, знаменитейший из современников, приветственно обращается к ней с великолепными стихами, она содрогается, словно от ангельского зова. В ответном стихотворении, где на прекрасные строки она откликается еще более прекрасными, она испуганно отклоняет всякую славу:

Oh! n'as-tu pas dit le mot gloire?
Et ce mot, je ne l'entends pas.²

Снова и снова указывает она на ничтожество своей малейшей особы:

Je suis trop buissonnière, et ce n'est pas aux champs
Qu'il faut apprendre à moduler ses chants;
Il faut, ce qui me manque, une sévère école
Pour livrer sa pensée au vent de la parole.³

Она склоняет голову перед малейшим поэтом, перед последним дилетантом и чуть ли не коленопреклоненно расточает ученическое благоговение перед госпожею Тастю, средней руки жеманной стихотворицей. Она всю свою жизнь не понимает, что такое литература. В оставшихся после нее трехстах письмах напрасно было бы искать хотя бы одну строку, имеющую отношение к этой ярмарке тщеславия; с удивительной, неисправимой наивностью она так же недооценивает себя, как переоценивает

¹ Сама не своя от радости.

² О, ведь ты сказал: слава! А этого слова я не слышу.

³ Я чересчур дикарка, а слагать напевы учатся не в полях; чтобы вверять свою мысль ветру слова, нужна строгая школа, а этого-то мне и недостает.

других. Латуша, автора «Фраголетты», этого сомнительного друга, она называет «*homme d'immense génie*»¹ и чувствует себя пожизненно обязанной ему, потому что он когда-то подсчитывал слоги в ее стихах и нашел ей издателя. Она и тут—вечно склоненная, вечно преданная, «*sée à genoux*»,² как она сказала однажды. Даже литература ничего не может поделать с ее одухотворенной застенчивостью.

Никак, никак не может она постигнуть того чуда, что ее маленькая, тесная, злополучная жизнь, ее угнетенные, робкие чувства могут в ком бы то ни было возбуждать внимание и сочувствие. Ведь это же только ее слезы переливаются в ее стихах, мимолетные кристаллы, которыми жизненная стужа, столкнувшись с внутренним жаром, усыпала, словно ледяными цветами, зеркальную поверхность ее судьбы. И действительно, «*larmes et pleurs*»³—это те два слова, которые проходят сквозь все ее творчество, это вечный припев ее стихов; скорбь и несчастье, эти подлинные звезды ее жизни, были и единственными вдохновителями ее поэзии. Но, мало-по-малу, чувство ширится, отклоняется от личных переживаний и выливается в великое сострадание. Ее личная жизнь растворяется во вселенском чувстве. Надменная романтическая скорбь, которую она в свое время невольно переняла у плохих подражателей Байрона, мало-по-малу вырастает, в силу внутренней доброты, в трагическое чувство счастья, а в то же время ее язык освобождается от всякой романтической напыщенности. Ее тихий голос становится громким, окликая других; братское сочувствие всякому земному страданию помогает ей, в позднейших ее стихах,

¹ Человек огромного гения.

² Родившаяся коленопреклоненной.

³ Слезы и плач.

достигать возвышенного пафоса. Она призывает всех униженных:

*Vous surtout qui souffrez, je vous prends pour mes soeurs,
Pleureuses de ce monde où je passe inconnue.*¹

В своем голосе она чувствует жалобу всех матерей, все слезы мира сливаются с ее слезами, тысячи вздохов окрыляют ее поэзию. И в Лионе, восставшем городе, ее жалоба становится обличением, ее голос переходит в крик. Это застенчивое, доверчивое дитя любовь превратила в женщину, а материнство и скорбь сделали ее человеком и собратом людям. Она обвиняет, она дрожащим пальцем указывает на пушки, которые расстреливают живых людей, отцов, жен и матерей, и тревожное время невольно преобразует ее в великого гражданского поэта. Она рисует нужду рабочих, глумление богатых и комедию судов, она обращается ко всему человечеству и возвышает свой голос к богу. Всякому несчастью она сестра:

*Je me laisse entraîner où l'on entend des chaînes;
Je juge avec mes pleurs, j'absous avec mes peines;
J'élève mon coeur veuf au Dieu des malheureux;
C'est mon seul droit au ciel, et j'y frappe pour eux!*²

Ее любовь превратилась в любовь вселенскую, все, что в ней было сентиментального, развеяно бурями судьбы, и когда она теперь возвышает голос для жалобы, то это уже не жалоба на собственную участь; она, покорная

¹ См. стр. 109, стихи 2 и 7.

² Я влекусь туда, где слышны цепи; я творю суд моими слезами, я даю отпущение моими страданиями; я вздымаю мое вдовое сердце к богу несчастных; это мое единственное право на доступ в небо, и я стучусь туда за них.

своему уделу, повелительно и смело говорит во имя человечества. Громко, полнозвучно и грозно гремят ее стихи к создателю всех мучений, к господину скорби. Уже не женщина говорит о тоске и муке женского чувства, а неизреченное к неизреченному, и прекраснейшие из стихов Деборд-Вальмор уже лишь беседы страдающей твари с ее творцом.

ЖЕНЩИНА

Tant que l'on peut donner
on ne veut pas mourir! ¹

Она воистину женщина, потому что любовь есть смысл и дело всей ее жизни. Ее страсть питается не ответной любовью, всегда случайной и неверной, но потребностью любить, которая в ней безгранична и нескончаема. Не извне вторгается в нее чувство, не из пережитого, но возникает изнутри, из неисповедимых глубин ее сердца. Здесь нет ни начала, ни конца, все сливается воедино, теснимое приливами души, дочерняя любовь, страсть, супружеская верность, материнство, чтобы наконец излиться в беспредельность любви к божеству, к которой она с самого начала бессознательно стремилась:

Seigneur! qui n'a cherché votre amour dans l'amour? ²

Из края в край ее жизни неудержимой волной проносится этот поток. Ее чувство неумоимо, она неустанно отдает его мужу, детям, друзьям, миру и богу. Она все та же бесконечно умиленная, дарящая, страдающая, и когда ее любовь скитается от первого мужа ко второму, от детей к церкви, то это скитальчество есть лишь высшая верность внутреннему завету, который ищет внешнего выра-

¹ См. стр. 109, стих. 12.

² Господи, кто не искал в любви твоей любви?

жения. Значительность ее переживаниям придает всегда не самое событие, не повод, а чувство. Тот, оболститель, на сцене ее жизни—всего лишь вестник, который подает реплику, чтобы могла зазвучать трагедия сердца, а затем удаляется и исчезает во тьме; великая игра, которую начала с нею любовь, кончается не с ним, а с ее собственной жизнью. Из ее взволнованной груди, пробудившись однажды, неустанно несется песнь ликования и муки, ария ее души не умолкает вплоть до последнего дня.

Я не знаю поэтессы, которая была бы в меньшей степени актрисой своего чувства, чем Деборд-Вальмор, профессиональная комедиантка. Это не героиня (как Жорж Санд, как Шарлотта Корде, Жанна д'Арк и Теруань де Мерикур), она лишь повседневно героична; это не носительница великой страсти, *grande amoureuse* (как Помпадур, как Леспинас, как Нинон де Ланкло), а просто любящая и потому самоотверженная женщина. Всю жизнь она в храме своего сердца приносит жертвы богу чувства. Она безропотно отдает все, что может отнять у своей жизни: возлюбленному—свою чистоту, мужу—каждодневный труд и силы, детям—заботы, чувству—стихи и небу—молитву. Отказать—было бы для нее смертью:

Tant que l'on peut donner on ne veut pas mourir!

Поэтому она ничего не оставляет себе, а если что-нибудь достается на долю ей,—сценическая, а впоследствии поэтическая слава,—то эти дары судьбы она отклоняет, как недостойная их. Она хочет оставаться неукрашенной, слугою, батрачкою чужих жизней, она хочет дарить сама, а не получать дары, она не хочет, чтобы ее даяние было умалено мздою. Из всех своих часов, темных и смутных, плетет она венки, чтобы венчать других, и расточительно осыпает цветами своих стихов дорогое имя. Она никогда не знала счастья одаряемых; воистину женщина от хму-

рого детства до смертного часа, она почерпает силу и подъем в беспримерном самоотречении, в самоотречении, которое ни о чем не спрашивает, не требует никаких обязательств, не ставит никаких условий, как и тогда, когда, ради жертвенной радости, она отдалась чужому человеку. Сама она отвыкла от счастья и находит его лишь в том, чтобы видеть других счастливыми. Она всегда отходит в сторону, и когда она просит, когда она взывает, то это ради мужа и ради детей, сама безропотно готовая исчезнуть, погибнуть, и самое сладостное ее желание —

D'être abeille et mourir dans les fleurs. ¹

Судьба не простирает к ней своих блаженных объятий, и вот она смиренно сидит у ее ног, и мало-по-малу страдание перестает быть для нее врагом и обидчиком, а становится верным другом. И когда к ней приближается хорошее, она страшится в нем чего-то чуждого, на что она не имеет права. Она боязливо сторонится его. Когда оно к ней подходит, когда к ней сватается Вальмор, когда ее стихи встречают сочувственный отзыв, она содрогается, его приближение пугает ее:

Je tremble d'être heureuse. ²

Ее счастье — она рано сознает это — только слезы, и она любит их, как радость, которой ей страшно лишиться. Мало-по-малу в ее муку примешивается сладость, и произвольно, в силу сокровеннейшей жизненной потребности, она становится мастером своей боли и счастливой в страдании. Подобно тому, как говорится в стихах Готфрида Келлера, она может сказать про себя:

Я мастер стал в искусстве
Страданий и скорбей
И в самом зле отраду
Нашел душе своей.

¹ Быть пчелой и умереть в цветах.

² Я страшусь быть счастливой.

Страдание — подлинный ее мир, и ее жалоба становится молитвой. «*Prier, ce sont nos armes*»,¹ — говорит она про себя и про всех женщин, потому что она сознает, что только через страдание, а не через радость женщина становится причастна к великому единству, что всякое приятие должно быть для нее мукой и что ко всякой ее отраде, телесной и душевной, неизменно должна быть при- мешана боль.

Поэтому никакое новое несчастье уже не может ее смутить: ее любви нельзя убить, ее чувства нельзя разрушить. При первом разочаровании терзаемое сердце еще кричало, слишком внове была для нее боль. Но уже и тогда это была всего лишь испуганная жалоба, не гнев и не укоризна, уже тогда она старалась превратить вину в предопределение, в самообвинение:

*Il me faisait mourir, et je disais: «J'ai tort».*²

Уже тогда она ему прощает, прощает подруге, которая его подговорила, потому что ей приходится сознаться себе самой:

*Je ne sais point haïr.*³

Она всякий раз — жертва, пострадавшая, но не разочарованная. Ее родные облепили ее жизнь, как паразиты, но она не обмолвилась ни словом жалобы. Латуш, притворный друг, хочет обольстить ее дочь; и все-таки, когда, после его смерти, Сент-Бев обращается к ней со своим письмом, она пишет ему в ответ пламенную апологию. Для своего обольстителя она находит самые чудесные из слов прощения, которые когда-либо были произнесены женщиной.

¹ Молитва — наше оружие.

² Он мучил меня до смерти, а я говорила: «Я виновата».

³ Я не умею ненавидеть.

Она для каждого находит извинение, и за всех тех, кто ее мучил и унижал:

Ceux qui m'ont affligée en leurs dédains jaloux,
Ceux qui m'ont fait descendre et marcher dans l'orage,
Ceux qui m'ont pris ma part de soleil et d'ombrage,
Ceux qui sous mes pieds nus ont jeté leurs cailloux, ¹

за всех них она возносит свой голос.

В этой кажущейся слабости, в этом беспредельном смирении покоится сила Марселины Деборд-Вальмор, ее чудесный героизм. Ее жизнь — жизнь героини, и Декав нашел для нее прекрасное имя: Notre-Dame des Pleurs. Стойкой ее делает внутренний пыл. Подобно тому, как ее тощее, хрупкое тело, на зло всем болезням, больше полувека не сдается, так и ее характер преодолевает все невзгоды. У других сила выражается в делах и словах, ее же лучшие силы сходятся в молчании, и никакие стихи нам не расскажут о том, что за муки она несла в повседневной борьбе и трудах, среди нужды и унижений, чего ей стоила улыбка, с которой она встречала вечером усталого мужа, чего ей стоил этот героизм — четыре раза вставать с колен от смертного ложа своих детей и снова возвращаться в такую ужасную жизнь. Эта тысячекратно закаленная сила, позволяющая ей бороться с отчаянием и неуклонно служить любви, и есть то чудо, которое поддёрживает ее огонь вплоть до последнего дня и дает ей быть поэтессой вплоть до последнего стиха. У других женщин чувство обычно угасает вместе с любовью, у других поэтесс страсть остывает вместе с переживанием, она же беспредельно преображает и возвышает свое чувство.

¹ За тех, кто меня обижал своим завистливым пренебрежением, за тех, кто меня изгонял и заставлял идти под грозой, за тех, кто у меня отнимал мою долю солнца и тени, за тех, кто мне под босые ноги кидал камни.

С возлюбленного на мужа, с мужа на детей переносит она свою жертвенную любовь, но никогда не угасает священный огонь. Что бы ни бросала в него жизнь, муку, горечь, отвращение, он только жарче горит, и шестидесятилетняя женщина служит ему еще самоотверженнее, чем молодая девушка. Пламя, которое некогда достигало всего лишь до губ возлюбленного, согревало ее детей и обнимало ее мужа, в последние годы сливается воедино с вечным огнем.

Жизненный путь Марселины Деборд-Вальмор лежит через Голгофу всех страданий; и чтобы она познала также и высочайшую радость, и глубочайшую муку, жизнь возлагает на ее окровавленную голову темный, терновый венец материнства.

MATER DOLOROSA

В жертвенности был смысл ее жизни, и поэтому высшим ее призванием было материнство. Здесь ее самоотречение, так щедро расточавшееся, могло стать беспрерывным, и чистоту ее чувства ждал невинный отклик. Здесь она могла служить без конца и без чьей-либо благодарности, мучить свою кровь ради собственной крови. И только в этом женственнейшем из чувств гаснет вечный страх ее смиренной жизни, страх, что она недостойна и не заслуживает счастья. Когда она смотрит на своих детей, запуганность ее души уступает место новому чувству.

В бурях ее жизни—здесь маленький островок счастья, и этого голоса, всегда такого озабоченного, нельзя узнать, когда Марселина говорит о своих детях. Покров печали спадает, и закипающая слеза уже не омрачает блаженной мелодии. Звучит ликование, которому ее никогда не могла научить любовь:

Un enfant! un enfant! ô seule âme de l'âme!
Palme pure attachée au malheur d'être femme!
Eloquent défenseur de notre humilité,
Fruit chaste et glorieux de la maternité,
Qui d'une langue impie assainit la morsure
Et de l'amour trahi ferme enfin la blessure!¹

¹ Ребенок! Ребенок! О, единая душа души! Чистая пальмовая ветвь, осеняющая несчастье быть женщиной! Красноречивый заступник нашего ничтожества, целомудренный и многославный плод материнства, врачующий укус нечестивого жала и целящий рану обманутой любви!

Это пламенное материнство окружает маленькие жизни от их первого часа до возмужалости, оно начинается еще в предчувствии ожидания, оно уже летит им навстречу, и я бы сказал, что никогда еще мать не писала стихов прекраснее, чем стихи Марселины Деборд-Вальмор на рождение ее сына Ипполита. Таинство беременности преобразует глубокое, кровное ощущение в своеобразнейшее, блаженное чувство, и она, — еще истомленная страданиями, которые уже давно потонули в счастье, — рассказывает своему ребенку о сладостных заботах ожидания, о том, как она, частицу за частицей, создавала его тело, как его чувства пронизаны ее мечтами и вся его жизнь пламенно предчувствована ее желаниями.

Отделившись телом от тела, она все еще погружает свою душу в полудремотный дух ребенка и согревает его заботами любви. А когда дети подрастают, она одна им служит. Она охраняет их сон, она отгоняет их страхи. С ними она и сама становится как дитя, ее поэзия учится языку лепечущих губ, она, чтобы баюкать свою девочку, сочиняет для нее стихи, которые стали бессмертны во французской литературе и которые в наши дни каждый ребенок в школе заучивает и твердит своим тоненьким голоском.

Так, еще раньше, чем ее дети научаются говорить, она одушевляет музыкой их немые уста. А для своего сына, когда тот в первый раз отправляется в школу, она пишет очаровательный маленький рассказ «L'Écolier», чтобы возбудить в нем прилежание; и с той поры тысячи матерей читали его вслух тысячам детей, когда те впервые, застегнув ранец, собирались в школу. Ей не приходится приневоливать себя к таким стихам, не приходится напускать на себя, ради детей, какую-то ребячливость, потому что ее самое радуют эти маленькие строфы. В этих детских песенках для нее вдруг пробуждается нечто

давно забытое и уже похороненное: ее собственное детство. От детских улыбок на ее жизнь падает веселый отсвет, для этих прелестных, мелодических стихов она находит особые, шаловливые обороты, ее омраченное сердце снова расцветает радостью. Ей впервые беззаботно дышится. Бедность, осаждающая ее жизнь, застает ее сильной и неуязвимой, она препоясана новым счастьем, материнством; смерть для нее уже не страшна, судьба над ней не властна. Она восклицает, ликуя:

J'ai des enfants! Leurs voix, leurs haleines, leurs jeux
Soufflent sur moi l'amour qui m'alimente encore;
J'ai, pour les regarder, tant d'âme dans les yeux!
Mon étoile est si bien nouée à leur aurore!
On m'a blessée en vain, je ne peux pas mourir:
J'ai semé leurs printemps, je dois les voir fleurir. ¹

Но этой великой страстотерпице всякое земное обладание дано лишь как мимолетный залог, и она должна платить за него всеми своими слезами. Смерть стоит между счастьем и нею. Первое дитя, дитя незнакомца, у нее похитила смерть, и первый ребенок, которого она дарит Вальмору, тоже умирает через несколько недель. И вот судьба как будто умиловивлена этими двумя первыми жертвами ее любви, на смену погибшим рождаются еще трое и перерастают детский возраст: сын Ипполит и дочери Ондина и Инеса. Целых двадцать лет радуют они ее. Старшая, Ондина, кокетливая, умная и честолюбивая девушка, живо увлечена литературой; Сент-Бев просит ее руки, она ему отказывает; и вдруг Марселина узнает, что Латуш, дружественно бывающий у них в доме

¹ У меня есть дети! Их голоса, их дыхание, их игры овевают меня любовью, которая меня питает; чтобы глядеть на них, у меня столько души в глазах! Моя звезда так хорошо влетается в их зарю! Напрасно меня ранили, я не могу умереть; я посеяла их весны, я должна увидеть их расцвет.

(и в котором некоторые биографы видят «Оливье», оболыстителя Марселины, и отца ее внебрачного ребенка), предлагает все свое искусство, и не вполне безуспешно, чтобы злоупотребить своими правами близкого знакомого. Объятая страхом, Марселина пишет далекой дочери горячие письма, дошедшие и до нас, где она с трогательной заботливостью предостерегает ее от той участи, которая когда-то постигла ее самое. Вместе со страхом пробуждается давняя боль пережитых страданий. Дни тревоги, месяцы отчаяния вторгаются в ее жизнь. Подобно тому как, созерцая счастье своих детей, она переживала вновь свое детство, так теперь в ее дочери грозит воскреснуть жестокая трагедия оболыщенной. Она должна защитить свое дитя, ведь у нее самой тогда не было матери, которая оградила бы ее от несчастья; защитить — эту мысль едва вмещает разум — от, быть может, того самого «Оливье», от того же оболыстителя или, во всяком случае, от того же оболыщения. Но Ондину удастся предостеречь, а вслед затем и выдать замуж за простого и честного, уважаемого человека.

Спасти, чтобы вдвойне ее утратить. Ибо теперь, когда она, казалось бы, в безопасности, судьба обрушивает первый свой удар. Инеса, младшая дочь, медленно умирает от чахотки, за нею следом — ребенок Ондины, а немного погодя, от той же болезни, к отчаянию матери, сама Ондина. Со звездами ее глаз гаснут последние светочи, озарявшие ей жизнь, и так же, как некогда в любви, она теперь и в судьбе видит только мрачное издевательство, насмешку над счастьем, разрывающую ей сердце. Ее венец лежит в пыли, она — «*la mère désouçonnée*»; ¹ ее гордость, ее доверие сломлены, семь мечей пронзают ей грудь. И, словно эти дорогие жизни были связаны меж собою

¹ Развенчанная мать.

какими-то подземными корнями, внезапно рушится весь вал, которым, как ей казалось, она оградила свое существование. Ее дядя, ее брат, ее подруга, все умирают, почти одновременно, в эти страшные годы; подобно Ниобе, окаменев от горя, она видит их падающими друг за другом под стрелами судьбы.

От любви она еще могла бежать, но от смерти — нет. Перед смертью она бессильна. Она чувствует, что теперь все окончательно погибло. Любовь ее стареющего мужа уже не подарит ей, седой женщине, новых детей. Семья ее распалась, друзья исчезли, ей уже нечего любить на этом свете. С пожараща ее жизни пламя ее тоски возносится теперь лишь к небу.

УХОД И БЕССМЕРТИЕ

...Moi je pars, moi je passe
Comme à travers les champs un filet d'eau s'en va;
Comme un oiseau s'enfuit, je m'en vais dans l'espace
Chercher l'immense amour où mon cœur s'abreuva. ¹

И вот, она — старая женщина, одна на свете. Бедность и печаль обводят ее тесный удел черной каймой. Поле ее жизни, после шестидесяти лет трудов, лежит пустым. Напрасно вспахивал его плуг страдания, буря развеяла все семена. Одна последняя подруга осталась еще у нее, и ей она пишет про тайну своего одиночества. Но вскоре ей уже некому сказать задушевного слова: и эта, последняя, Полина Дюшанж, опережает ее.

Каждый лишний день ей в тягость, и шестьдесят лет тихой скорби неотступно гонят ее прочь из этого опустелого мира. Никому уже не нужна ее бесконечная любовь, и поэтому она не видит смысла жить. Покорность переходит в нетерпение, каждый лишний час среди людей и домов становится мукой.

Ее взгляд отверщен от этого мира и направлен всегда лишь вдаль, в грядущее или в прошлое.

De chaque jour tombé mon épaule est légère. ²

¹ Я ухожу, я иду мимо, как через поля уходит нить воды: как улетающая птица, я уношусь в простор искать безмерную любовь, утолявшую мое сердце.

² Всякий упавший день облегчает мне плечи.

Такую застаёт её Мишле — «ivre d'amour et de mort», она упоена любовью и смертью. И из этого упоения возникают её последние стихи. Жизнь могла у неё похитить все, только не жар сердца. Но теперь она уже не полыхает, как страстный факел, а горит в ясном безветрии, как некий вечный свет.

Mon coeur n'est pas éteint: il est monté plus haut. ¹

Сквозь все утончающуюся телесную оболочку ещё жарче пылает душа. Когда она говорит, это говорит уже почти не она. В этих стихах она уже вечно восходящая, уже освобожденная.

Еще год, всего лишь телом, живет она на свете, от которого давно уже отвращены её чувства. И наконец, 23 июля 1859 года, смерть берет её к себе. Её хоронят на высоком Монмартрском кладбище, недалеко от могилы Генриха Гейне, а в Дуэ, там, в серой церковке, где её крестили и где она играла ребенком, священник читает последнюю молитву об упокоении её души. Но в темном и величавом соборе славы все великие поэты Франции свершают по ней заупокойную литургию. Бодлер, Сомен, Виктор Гюго, Анатоль Франс, каждый произносит ей свою литанию любви, как благодарение за её любовь, каждый читает её великой душе поэтическую молитву и, быть может, прекраснейшую из них Верлен:

Telle autre gloire est, j'ose dire, plus fameuse,
Dont l'éclat éblouit mieux encor qu'il ne luit:
La sienne fait plus de musique que de bruit,
Bien que de pleurs brûlants écumeuse et fumeuse.

Mais la bonté du coeur, mais l'âme haute et pure
Tempèrent ce torrent de douleur et d'amour
Et, se mêlant à la douceur de la nature,
A sa souffrance aussi, de nuit comme de jour

¹ Мое сердце не угасло: оно поднялось выше.

Promènent sous le ciel tout pluie et tout soleil
A chaque instant, avec à peine des nuances,
Un large fleuve harmonieux de confiances
Vives et de désespoirs lents, et, non pareil,
Il chante, l'ample fleuve au capricieux cours,
L'hymne infini de toute la tendresse humaine
Où la fille et l'amante et la mère ont leurs tours,
Où le poète aussi, dans l'horreur qui nous mène,
Vient mêler son sanglot qui finit en prière
Universelle, et la beauté même d'un art
Issu du sang lui-même et de la vie entière,
Rires, larmes, désirs et tout, comme au hasard. ¹

Пламя своих стихов каждый зажег от ее огня, и лучезарная цепь протянулась от ее мира до наших времен. Но лишь мало-по-малу озаряет слава ее забытое имя. Ее письма раскрывают ту героическую трагедию, которую ее незаметная, подневольная жизнь таила даже от близких, и являют нам беспремерную гармонию творчества и жизни, слитых в сладостном и скорбном созвучии, прекраснее которого, пожалуй, ни одна поэтесса не исторгала из своей судьбы. И только нам, потомкам, дано благоговейно познать высшую тайну ее жизни и искусства, благороднейший завет поэта: утомить страдание бесконечной любовью и претворить жалобу в вечную музыку.

¹ Иная слава, я бы сказал, знаменитей, и блеск ее не столько светит, сколько слепит; в ее же славе больше музыки, чем шума, хоть она и пенится и дымится горячими слезами. Но сердечная доброта, но высокая и чистая душа умеряют этот поток скорби и любви и, смешиваясь с природной кротостью, и со страданием тоже, ночью и днем расстилают под небом, где каждый миг то дождь, то солнце, с еле заметными оттенками, широкую и гармоническую реку живой веры и медленных отчаяний, и, несравненная, она поет, эта обширная река с прихотливым течением, бесконечный гимн всей человеческой нежности, где дочь, и любовница, и мать знают свой черед и куда также и поэт, в уводящем нас ужасе, вносит свое рыдание, переходящее во всемирную молитву, и самую красоту искусства, возникшего прямо из крови и изо всей жизни, смех, слезы, желания и все, словно наугад.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С Т И Х И

Печатаемые здесь стихотворения
Марселины Деборд-Вальмор переве-
дены с французского, по изданиям:
Poésies de Madame Desbordes-Val-
more, avec une notice par M. Sainte-
Beuve. Paris. 1842, и Oeuvres poé-
tiques de Marceline Desbordes-Val-
more. 3 vol. Paris. 1886 — 1887.

МОЯ КОМНАТА

Высоко живу я,
Выше крыш, одна;
Бледная, кочуя,
Здесь гостит луна.
Если у порога
Раздается звон,
Не встает тревога:
Все равно — не он!

Ото всех далеко,
Тку свои цветы;
В сердце нет упрека,
Но грустят мечты.
Тихого пространства
Вижу бирюзу;
Вижу звезд убранство,
Иногда — грозу.

Стул с обивкой алой
Дремлет в стороне:
Он служил, бывало,
И ему, и мне;
Лентою повитый
(Тонкая тесьма),
Он стоит, забытый,
Как и я сама.

ПРЕДВЕСТИЕ

Да, мы увидимся, я знаю, да, наверно!
Лицо мое горит, мне сладостно от слез;
Прислушиваюсь, жду... гадаю суеверно...
Весь воздух ждет... То он!.. Мне эту весть принес
Внезапно кровь мою овеявший мороз.
Так мне и сон шепнул под утро. А сегодня
Как будто и часы свой изменили звон.
Увидев голубя, избранника господня,
Я бы не вздрогнула, не будь предвестьем он.

О да, я узнаю волненье сладкой муки!
Уже меня Любовь готовит к встрече с ним:
Нет больше холода разлуки;
Иль сердце он мое соединил с своим?

А книга!.. Что со мной? Как эти буквы зыбки!
Сливаясь, все слова твердят мне: «Это он!»
Я плачу и никак не удержу улыбки...
Да, так надеются, я помню с тех времен!
Но пощади, Любовь, есть мера всяким силам:
Мне слишком яркий свет в глаза ударил вдруг;
О, дай мне помечтать о милome;
Пусть станет время, смолкнет звук.

Ольха, не шелести! Ручей, прерви журчанье!
Уймитесь, стихните, он скоро будет к нам:

Я слышала земли дрожанье,
Как в дни, когда могла внимать его шагам.
Вот на дороге я... Окно мне закрывало
Цветами эту даль... Как? Все еще весна?
Луга еще цветут? Земля населена?
Так значит, лишь его душе не доставало?
Еще вчера мой день был скукой омрачен...
Так значит, свет, весна и небо, это — он?

Все для меня полно счастливого обилья:
Весна, любовь, лазурь, все есть в моей судьбе;

И я как будто чую крылья,
Чтоб полететь к тебе!

Но где я? Давит грудь... дрожу... боюсь упасть я...
Что, если я умру до встречи?... Не хочу!
Но, ослабевшая и бледная от счастья,
Что я скажу ему?... Лишь имя прошепчу!
Да, в имени его есть сила роковая,
В нем тайное навек сокрыто волшебство:
То мой отрадный клич, моя мечта живая,
Единый мой язык; и он поймет его!

Но эта тишина? и это ожиданье?
И этот мрак в душе, и этот холодный гнет?
Я слепну от любви, колеблется сознание,
Нет больше сил страдать... Да! он ко мне придет!

ЭЛЕГИЯ

Я, не видав тебя, уже была твоя.
Я родилась тебе обещанной заранее.
При имени твоём как содрогнулась я!
Твоя душа мою окликнула в тумане.
Оно раздалось вдруг, и свет в очах погас;
Я долго слушала, и долго я молчала:
Нас в этот миг судьба таинственно венчала;
Как будто нарекли мне имя в первый раз.

Скажи, не чудо ли? Ещё тебя не зная,
Я угадала в нём, кому обречена я,
Его узнала я и в голосе твоём,
Когда ты озарить пришел мой юный дом.
Услышав голос твой, я опустила веки;
Один безмолвный взгляд нас обручил навеки;
Тот взгляд с тем именем казались мне слиты,
И, не спросив о нём, я знала: это ты!

И с той поры мой слух им словно околдован,
Он покорен ему, к нему навек прикован.
Я выражала им весь мир моей души;
Связав его с моим, я им клялась в тиши.
Оно мерещилось мне всюду, в дымке грезы,

И я роняла слезы.

Пленительной хвалой всегда окружено,

Светло увенчанным являлось мне оно.
Его писала я... Потом писать не стала
И мысленно его в улыбку превращала.
Оно и по ночам баюкало мой сон;
С зарей я слышала его со всех сторон;
Им полон воздух мой, и, если я вздыхаю,
Я теплоту его всем сердцем ощущаю.

О, имя милое! о звук, связавший нас!
Как ты мне нравишься, как слух тобой волнуем!
Ты мне открыло жизнь; и в мой последний час
Ты мне сомкнешь уста прощальным поцелуем!

РОЗЫ СААДИ

Сегодня неутру тебе я роз нарвала;
Но я так много их в мой пояс увязала,
Что тесные узлы их не могли стянуть.

Порвался пояс мой. Развевшись в просторе,
По ветру легкому цветы умчались в море.
Вода их увлекла в невозвратимый путь;

Огнисто-алыми от них казались волны.
Их медом до сих пор мои одежды полны...
Дышать их памятью приди ко мне на грудь.

ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Ты помнишь ли, мой дорогой, мой милый,
Осенний день, усталый, бледный свет?

Он словно слал прощальный свой привет
Лесам, овеянным его красой унылой.

И птицы не могли тревоги превозмочь;
На крылья им роса упала неживая,
И, в теплое гнездо своих подруг сзывая,
Они на сумрачных деревьях ждали ночь.

Стада, на пажитях бродящие в печали,
Лишь дикий злак и плевелы встречали;
И пастырь, позабыв певучий свой камыш,
Делил с долиною уныние и тишь.

Ничто утешить не могло природы.
Веселые цвета уже терявший лес,
Нагие берега и стывущие воды,
Все хоть бы луч тепла просило у небес.

Одна, я тихо шла от праздничного шума;
Мне нужен был покой, меня смущал твой взгляд;
Но тишина полей, их горестная дума
Невольно в душу мне вливали тайный яд.
Без цели, без надежд, отдавшись размышленью,
Я шла, не ведая, в какой я стороне;
Любовь окутала меня любимой тенью,
И воздух осени казался жгучим мне.

Напрасно разум мой, как тяжело ни метался,
Спасаясь от тебя, сам от себя спасался:
Неведомая власть, пока в слезах я шла,
Внезапно от земли мой взор оторвала.
Сквозь вьющийся туман какой-то образ зыбкий
Теплом и трепетом мне душу пронизал;
И солнце выплыло и светлую улыбкой
Разверзло небеса... Ты предо мной стоял.
Мне было страшно слов; всеильно, молчаливо,
Меня волшебное объяло забытье.
Мне было страшно слов; но я была счастлива;
Я сердце слушала, чужое и свое.

Но чуть твоя рука мне руку сжала,
И легким холодом оделась грудь моя,
И жгучая волна по телу пробежала,
О, что в тот миг почувствовала я!
Я не подумала бояться, я осталась;
Впервые жалоба из уст твоих раздалась,
И скорбь моя, в ответ, открылась пред тобой,
И вся моя душа слилась с твоей судьбой.

Я помню! Помнишь ты, любимый,
Печаль блаженную мою
И то, как ты сказал, с тоской неизъяснимой:
«О, если больно мне, то больно и в раю!»

То были в тихой мгле единственные звуки.
Прекраснейший из всех прожитых нами дней,
Готовый умереть, вдруг запылал сильнеей,
И мне его закат был знаменьем разлуки.

Душа миров зажглась нам в час конца;
Ее последний луч померк в дали печальной,
И наши навсегда разъятые сердца

Хранят лишь свет ее прощальный!

ДО ТЕБЯ

Как гибнет соловей, сгорая песнью сладкой,
И дышит на птенца певучей лихорадкой,
Так, от любви сгорев, прощальным взглядом мать
Всю душу мне свою хотела рассказать.
Печалась, юная, пред вечною разлукой
И темный свой огонь даря мне с тайной мукой,
Она так ласково сжимала руку мне,
Как будто бы звала к знакомой ей стране.
И долго, долго я ее не понимала
И долго над ее загадкой рыдала,
Об этой гибели таинственной скорбя,
Запечатлев ее на сердце у себя,
На сердце жертвенном, рожденном для томлений,
Еще не вспыхнувшем для смертных песнопений.
Его биения был еле слышен звук,
Как ход глухих часов, готовых стихнуть вдруг;
Оно как будто бы задерживало миги.
Как сонное дитя раскрыть не в силах книги,
Я участи своей не знала, я ждала;
И дни всходявшие терялись без числа.
Меня привязывал к земле лишь пояс черный;
Я в жизни сиротой осталась беспризорной.
Мир слишком был велик, нестроен, слишком пуст;
Он иначе звучал без этих смолкших уст.

Я силилась бежать его слепых законов,
Его жестокости, его смертей и стонов.
Их мертвым отгулом теснимая вокруг,
Высоким голосом я пела свой испуг!

Но ты сказал: «Иду!» Какой восторг стозвонный
Ворвался в мой покой замедленный и сонный;
В каком стремительном объятьи мы слились,
Чтоб наши дни умчаты на братских крыльях ввысь!
Ты подарил огонь хладеющему взору,
И жизнь моя зажглась, как солнечный цветок,
Которому дает чудесную опору
Лишь поцелуй луча, лишь теплый ветерок...

С тех пор, как всю меня ты принял в обладанье,
Ты — истина моя! мой рай! мое мечтанье!
И я тебя зову, ликуя и грустя:
Мой брат пред господом! мой свет! мое дитя!
Нет слов, которыми измерю и признаюсь,
Как я тебя люблю, как глубоко касаюсь!
И если смертная тебя умчит гроза,
То, чтоб тебя вернуть, я обрету глаза,
Молитвы, возгласы, рыдания, зарницы
И я заставлю смерть раскрыть твои зеницы!
Когда ты в детстве спал, я знаю, что за стеной
Таила мать твоя: я стерегла твой сон...

Нет, не ревнуй меня! И если я робею,
И если никну я, страдаю и молчу,
То это от любви. Послушай, я хочу
Знать, говорил ли ты, когда меня своею
Ты назвал: «Вот душа, мне данная судьбой,
И с нею связан я до двери гробовой».
Ты говорил? Скажи... Прости, что я такая,

Но мы чего-то ждем взамену, отдавая.
Чтоб отдарить твой взгляд, как бы хотела я
Быть всей вселенною и молвить: «Я твоя!»
Я старше... Горе мне! И это ты увидишь
С годами. Только нет, меня ты не обидишь,
Меня обманешь ты, жалея и любя.
Я отплачу тебе, исчезнув до тебя!

ПИСЬМО ЖЕНЩИНЫ

Раз ты опять о том, что невозвратно,
Жалеешь вдруг,
Раз ты опять зовешь меня обратно, —
Послушай, друг:
Пространных клятв, где и мольбы, и грезы,
И стон души,
Когда за них расплатой будут слезы,
Ты не пиши.

Раз дол и рощи после непогоды
Горят светло,
Осушим взор и отметем невзгоды,
Подняв чело.
Хоть мне звучит еще твой голос милый,
Не говори,
Не говори мне больше: «До могилы!»
А: «До зари!»

Мы знали дни, мелькнувшие привольно
Среди цветов,
Мы знали дни, израненные больно
Кольцом оков;
От мыслей этих, тяготящих разум,
Уклоним взор,

И все, как дети, позабудем разом,
Вдохнув простор!

О, если может как бы жизнь вторая
Начать свой круг

И протекать, другой себя вверяя,
Без лишних мук,

Услышь мой зов, из глубины идущий:
На склоне дня

Приди ко мне, мечтающей и ждущей,
Возьми меня!

ОДИНОЧЕСТВО

Так значит, не затем, чтоб ждать с тоскою страстной,
Я эти знойные опять встречаю дни?

И прежнюю любовь мне не вернут они?

И голос милого, пленительный и властный,

Мне только грезю мерещится напрасной?

Все кончено. Все то, чем был мне дорог свет.

Какой пустынный мир! Куда все люди скрылись?

Не слышно времени; часы остановились.

Жить, бесконечно жить! А смерти нет и нет!

Иль надо мною ты, о вечность, тяготеешь?

Безвыходная ночь, каким ты жаром тлеешь!

Как птица, смолкшая при угасаньи дня,

О, если б мне уснуть у мертвого огня!

Уже не для него, проснувшись ночью темной,

Камена грустная, в венке из влажных роз,

Зовет меня в леса, под сень листвы укромной,

Кропя мои стихи благоуханьем слез.

Он думает, мой дух угас для песнопений;

Он, сердцем исцелясь, моих не слышит пений;

Не знает, сколько я намучилась в тиши.

Но что мне? Он моей не исцелит души.

Его я не польщу отрадой горделивой

Узнать из слез моих, как он в любви богат.

Что вызвал бы мой стон? Его испуг? возврат?

Иль жалость?.. Раньше смерть вернет мне мир
счастливый.

Все рушилось. Он сам — уже не то, чем был:

Мне сердце раздробив, свой образ он разбил.

Он мне не возвратит улыбки безмятежной

И прелесть легкую доверчивости нежной;

Их у меня любовь умчала без следа.

Что отдано любви, погибло навсегда!

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда он побледнел в тот вечер и затих,
Взволнованную речь прервав на полузвук;
Когда его глаза, из-под ресниц густых,
Мне душу ранили стрелой обманной муки;
Когда его черты, как негасимый свет,
Живая нежность озарила,
Чтоб в сердце у меня оставить вечный след,—
Он не любил, а я любила!

ПРОЩЕНИЕ

Я гибну, я нести не в силах больше муку.
О, дай мне в смертный миг забыться в тишине
Приди и положи безжалостную руку
На сердце мне.

Когда оно гореть устанет и бороться,
В тебе раскаянье уже не вспыхнет вновь;
Ты скажешь: «Нежное, в нем больше не проснется
Его любовь».

Смотри: она из ран струится, иссякая.
Но ты без ужаса взглядишь в мои черты:
Смерть у меня в груди, и все же холодна я
Не так, как ты.

Вынь сердце у меня, — подарок неденимый,
Подарок женщины, прожившей страстный сон; —
И, разорвав его, ты в нем прочтешь, любимый,
Что ты прощешь.

СПИ!

Над участью моей твоя гроза промчалась,
Твой жребий был моим, и скорбь моей была.
Вослед твоей душе моя душа взметалась,
Чтобы помочь тебе, я боль твою несла.

Но дружба немощна. Любовь берет всю душу!
Я не могла уже исправить ничего:
Волна не зеленит обугленную сушу,
И сердце, где кинжал, безмолвно и мертво.

Но я не умерла. Нет, я люблю, как прежде.
Я раздвигаю мрак, в котором мы идем;
Как бледный луч зари, поющей о надежде,
Свечу твоим глазам, дышу тебе теплом.

Больной, забывшийся дремотою, не чувствует,
Как губы ветерка с него свевают пот;
Но благодатный сон незримо кровь врачует;
Спи! Жизнь моя есть сон, мерцающий с высот.

Как скорбный серафим, с поникшими крыльями,
Под белой красотой тает свои лучи,
Сокрой свой ореол, пронизанный огнями:
Я тихим светочем горю в твоей ночи.

МОЛЬБА

Не дай мне испытать, как леденеют годы,
Ты, выткавший мой дух из нежного огня!
Избавь свое дитя от долгой непогоды.
Я темноты боюсь. Пусти на свет меня!

Не дай мне милого увидеть угасанье;
Мне страшно умереть печальной и одной:
О, пусть от холода, склоняясь надо мной,
 Меня хранит его дыханье!

А после — о, позволь двум чистым пламенам
В объятьях вечности, дивясь, соединиться!
Не ты ль чудесное послал предвестье нам,
Двум ждавшим душам дав в одном лобзаньи слиться?

ПСИХЕЯ

Раз детских весен благодатных
Мой белый сон
Исчез на крыльях невозвратных
За небосклон;
Раз у меня раскрыты вежды
На этот свет,
Где ничего верней надежды
Скитальцам нет;

Ко мне, о юность, золотая
Пчела моя!
Умчимся вдаль, вдвоем витая,
И ты, и я:
Спешим вперед, отдавшись зною,
Цветок и май,
Я за тобою, ты за мною,
В счастливый край!

Ты—мой наряд, шелками шитый,
Мой жемчуг ты,
Фата, которою повиты
Мои черты.

Как птица, странница простора,
Колышет трость,
Так ты мне гибкая опора,
А я твой гость.

Венок увял, свирель забыта,
Ты хмуришь бровь;
Скажи мне, юность, ты сердита
Не на любовь?
Любовь сверкает в бездне черной:
Она подчас
Грозой и бурей необорной
Встречает нас.

Любовь есть бог, в громах творящий
Свою грозу;
Не думай след ее горящий
Искать внизу:
Внизу все предается пыли
И забвению;
Земные розы — на могиле,
Любовь — в раю!

Но близок, близок час, подруга:
Средь вешней тьмы
Мы разлучимся, и друг друга
Оплачем мы.
Другую душу легкой тканью
Ты облечешь
И блеск бессмертному пыланью
Опять вернешь.

Ты полетишь туда, где вечно
Поет весна,
Куда часы спешат беспечно,
Спешит волна;
К тому, кто молод, кто смеется
Сиянью дня, —
И старость бледная сомкнется
Вокруг меня.

СОЛНЦУ

И Т А Л И Я

Друг изнуренных жизнью скудной,
Улыбкою целящий зло,
Источник благостный и чудный,
Живое, зримое тепло!
Твой пламень светом упованья
В последний час встречает тьму;
Лишь ты, шепча мне: «До свиданья!»
Был верен слову своему.

Ты под моим окном без шторы
Платан длеешь молодой;
Мои безрадостные взоры
Он нежит светлой головой.
Во всей Италии огромной,
Где я бреду, лишаясь сил,
Лишь ты забытой и бездомной
Привет и ласку подарил!

О, пусть лобзанием горячим
На нас падут твои лучи,
Малк над бездной, нам, незрячим,
Дающий созерцать в ночи!
Над облаками, над горами,
Скитальцам ласково дыша,

Над их безвестными путями
Рей, огнекрылая душа!

Взойди над Францией далекой,
Где милые по мне грустят,
И сыну, в доле одинокой,
Напомни любящий мой взгляд;
И если, полон скорбной грезы,
Он мой оплакивает путь,
Сбери, о солнце, эти слезы
И урони ко мне на грудь!

ПЛАЧУЩИМ СЕСТРАМ

Вы, нелюбимые, вы, ведавшие слезы,
Я вам всегда сестра, я ваш безвестный друг:
Вам отданы мои медлительные грезы
И сладость горькая моих пропетых мук.

Заточница-душа томится в этой книге.
Раскройте: кто сочтет страдание мое?
Печальницы земли, где я влачу вериги,
Склонитесь над золой, дотроньтесь до нее.

И пойте! Женщина врачует душу пеньем.
Любите! Ненависть мучительней любви.
Дарите! Доброта богата примиреньем;
Кто отдает свое, тот слышит зов: живи!

Когда вам некогда пролить, как я, чернила,
Пролейте хоть слезу на бедные мечты.
Прощая, молишься. В молитве — наша сила.
Простите дней моих раскрытые листы!

Чтоб душу расточать в стихии слова шумной, —
Хоть это многие чудачеством зовут, —
Быть надо нежною скорее, чем безумной:
Кто сердится на птиц, когда они поют?

ТЕМНИЦЫ И МОЛИТВЫ¹

Плачь, Франция! Сочти священных жертв изгнания!
Сгорают в душной тьме высокие сердца.
Положим скорбный лавр к подножью их страдания,
И мимо: нам нельзя увидеть их лица!
Идемте: голос наш не создан для угрозы;
Братоубийственным не служим мы мечтам;
Но женщинам даны слова молитв и слезы,
А бог, народный бог, их ждет за тех, кто там.
Смотрите: вот к тюрьме скользят святые тени.
Привет вам, по земле влачащие крыла!
Под вымокшим плащом вы бледны от лишений,
Вас нежность через грязь и пепел привела!
Привет! Ваш чистый взор, от жарких слез горящий,
Как прежде, погружен в земной и жуткий мрак.
Вы бродите, как встарь, по Элеонской чаше,
И Назорей скорбит, и торжествует враг.
Да, Назорей скорбит, терзаемый любовью!
Он, распятой рукой разбивший столько врат,
При виде этих жертв, его залитых кровью,
Вновь жаждет умереть, чтоб затворился ад!
Взойдите, сироты, на весовую чашу,
Зовите милость к тем, кто вас лишил отцов,

¹ Эти стихи служат, повидимому, откликом на разгром восстания парижских рабочих в июне 1849 г. (*Прим. перев.*).

Во искупление зла излейте горесть вашу,
Омойте солью слез безвинных мертвецов!
А мы не оскверним богопротивной бранью
Ни наших юношей, ни наши знамена.
На то ль трудились мы над нашей лучшей тканью,
Чтоб кровью наших душ окрасилась она?
Нет, длительной вражды умчался век суровый,
Вражда низка, темна; заря встает в крови!
О Франция, люби, разбей свои оковы,
Твой бог, народный бог, так ждет твоей любви!

ОБЛЕТЕВШИЙ ВЕНОК

Снесу, снесу венок, ветрами оголенный,
Туда, где все цветы воскреснут, в отчий сад;
Там расточусь душой коленопреклоненной:
Есть тайны у отца, которые делают.

Скажу, скажу ему, хотя бы лишь слезами:
«Смотри, я мучилась...» Он взглянет в тишине
И под уныньем лет, под вялыми чертами
Узнает дочь свою и улыбнется мне.

Он скажет: «Это ты, скиталица земная?
Или дороги ты не видишь впереди?
Забудь свою печаль; я ждал тебя, родная;
Вот сердце отчее, вот твой приют, войди!»

О благость! о покой! о воздух осиянный!
Ты услышал, отец, как плачет дочь твоя!
Я обрела тебя надеждой неустанной,
И у тебя есть все, чего лишилась я.

Ты не отверг цветов, хоть он и некрасивый;
Я и за этот грех тобою прощена;
И дочери своей не назвал нерадивой
За то, что, не продав, все роздала она.

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТРЫВКИ

Печатаемые здесь автобиографические отрывки переведены с французского, по следующим изданиям: Sainte-Beuve. Portraits contemporains, I. Paris. 1855; Arthur Pougin. La jeunesse de Mme Desbordes-Valmore. Paris. 1898; Lucien Descaves. La vie douloureuse de Marceline Desbordes-Valmore. Paris. 1910; B. Rivière. Fragment d'album inédit de Desbordes-Valmore. Mercure de France. 16 juin 1910.

Марселина Деборд-Вальмор оставила мало автобиографических записей (не считая стихов и писем, которые ведь не что иное, как непрерывная, страстная исповедь ее жизни и чувств). Она, по скромности своей, никогда не считала свою судьбу, свой труд настолько важными, чтобы засвидетельствовать их в документальном изложении. Поэтому печатаемые ниже повествования о самой себе — всего лишь отрывки, выбранные почти наугад из ее писем и сочинений. Изобразить всю свою трагическую жизнь поэтесса имела мужество только в стихах.

СЕНТ-БЕВУ

Появилась я на свет в Дуэ, на родине моего отца. Я была его последним и единственным белокурый ребенком. — Меня встретили и крестили с торжеством, оттого что цвет моих волос был тот же, что и у матери, которым все восхищались. Она была хороша, как мадонна, все надеялись, что я буду на нее совсем похожа, но я походила на нее только слегка. И если меня любили, то во всяком случае не за красоту.

Отец мой был живописцем гербов; он расписывал экипажи, церковные украшения. — Его дом прилегал к кладбищу скромного прихода Нотр-Дам, в Дуэ. Мне он казался большим, этот милый дом, который я покинула, когда мне было семь лет. Впоследствии мне довелось его снова увидеть, и это один из самых бедных домов во всем городе. И однако я люблю его больше всего на свете, в даях этой чудесной, оплаканной поры. — Мир и счастье я знала только там. — А потом — великую, глубокую нужду, когда отцу не пришлось больше расписывать экипажи и гербы.

Мне было четыре года в пору этой великой смуты во Франции. — Двоюродные деды моего отца, переселившиеся некогда в Голландию после отмены Нантского эдикта, предложили моей семье все свое громадное наследство, если она согласится обратить нас в протестантскую веру.

Оба эти деда были столетние старики; они жили холостяками в Амстердаме, где они основали и вели издательство. — У меня есть книги, напечатанные ими.

Устроили семейное собрание. — Мать моя очень плакала. Отец был в нерешительности и обнимал нас. — В конце концов, от наследства отказались, боясь продать наши души, и мы остались в нищете, которая возростала с каждым месяцем и привела к внутреннему разладу, породившему печальный склад моего характера.

Моя мать, неосторожная и смелая, увлеклась надеждой, что может восстановить наш дом, если отправится в Америку к одной разбогатевшей родственнице. Из четырех своих детей, которых это путешествие страшило, она взяла с собою меня одну. — Мне этого очень хотелось, но, пойдя на это, я утратила всякое веселье. Я обожала моего отца, как бога. — Улицы, города, морские гавани, где его не было, внушали мне ужас; и я забивалась в платье к моей матери, как в единственное мое убежище.

Когда мы приехали в Америку, оказалось, что родственница овдовела, что негры выгнали ее из дому; — колония восстала, желтая лихорадка неистовствовала. Мать не вынесла удара. Ее пробуждением была смерть, в сорок один год! Я умирала рядом с нею, меня увезли сиротой с этого наполовину обезлюдившего острова и, с корабля на корабль, доставили к моим родным, совершенно уже обнищавшим.

Вот тогда-то и для них, и для меня своего рода прибежищем явился театр: — меня научили петь, — я старалась стать веселой, — но была лучше в ролях меланхолических и страстных. — Такова уж моя участь.

Я любила жить одна. — Меня пригласили в театр Федо.¹ Здесь все мне сулило блестящую будущность; в шестна-

¹ Театр Комической Оперы в Париже, называвшийся также «Театр Федо», «Театр Фавар», «Итальянский Театр». (Прим. перев.)

дцать лет я была членом труппы, чего я никак не домогалась и не ожидала. Но моя скромная доля составляла в то время восемьдесят франков в месяц, и я боролась с неопишуемой нищетой.

Я была вынуждена принести будущее в жертву настоящему и, ради отца, вернулась в провинцию.

Когда мне было двадцать лет, глубокие страдания заставили меня бросить пение, потому что мой голос вызывал у меня слезы; но музыка звучала в моей больной голове, и размеренный ритм, помимо моего сознания, давал строй моим мыслям.

Я была вынуждена их записывать, чтобы отделаться от этого нервного бжения, и мне сказали, что это элегия.

Г. Алибер, наблюдавший за моим здоровьем, которое стало очень хрупким, посоветовал мне писать, в виде лечения, потому что не находил другого. — Я попробовала, хотя никогда ничего не читала, ничему не училась, и мне стоило утомительного труда подыскивать слова для моих мыслей. — Это и есть, должно быть, причина той неумелости и неясности, в которых меня упрекают, но которых я сама не могла бы устранить. — Я бы только все разрушила, ничего не поправив, и у меня никогда не хватало сил останавливаться подолгу на этих как бы записях впечатлений, которые я старалась забыть, — у меня столько других! Я, как и все, живу, чтобы страдать; это учит скорее мыслить, чем говорить. Красивая речь повергает меня в восхищение, когда я слушаю; но она вызывает во мне только сладостные мечтания, и от этого я несколько не лучше познаю мои ошибки.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

...Я стояла у нашей двери, когда уже не светло и не темно. Я различала его сквозь мягкий покров, облегающий улицы в вечерний час. Он шел быстро; его белокурая, курчавая голова близилась, словно голова ангела, к нашему дому. Он шел с кладбища, окаймляющего наш старый вал; и вот, он подходил. Мы смотрели друг на друга серьезно, мы говорили тихо и мало. «Добрый вечер», говорил он, и я брала из его протянутых рук широкие листья, зеленые и свежие, которые он срывал с деревьев на валу, чтобы привести их мне. Я брала их с радостью; я долго рассматривала их, и наконец какое-то смущение приковывало мои глаза к земле. Тогда я видела его босые ноги, и при мысли, что они исцарапаны о кору деревьев, мне становилось грустно. Он догадывался и говорил: «Это ничего!» Мы еще немного глядели друг на друга, потом вдруг, повинувшись движению сердца и стараясь, чтобы мой слабый голос не дрогнул, я говорила: «Прощай, Анри!» Ему было десять лет, мне — семь.

Боже мой, какое очарование хранят эти невинные привязанности! Оно проникнуто тою же свежестью, которую я ощущала в этих листьях, принесенных Анри, когда они касались моих рук...

Что стало с Анри? В чьих глазах искал он вновь того, что ему мелькнуло в моем удивленном и доверчивом

взгляде? Я не помню, был ли он красив. Ни его рта, ни некоторых его черт я уже не могу восстановить в памяти; только его глаза все еще говорят со мною. Потому что в них, сама того не зная, выражалась его душа. В ушах у меня остался звук его отрывистых слов, которые он произносил тихим голосом, и теперь я понимаю, что они меня волновали. Тогда я не отдавала себе в этом отчета. Но только я поджидала Анри, не двигаясь с места, не сводя глаз с дороги, где он должен был появиться... и он появлялся. Он появлялся всякий раз, не сказав, чтобы я его ждала. Да вознаградит его за это самое чистое счастье!

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ

Желтая лихорадка, продолжавшая свои опустошения в Пуент-а-Питре,¹ ничего уже не могла у меня отнять. Мне оставалось сесть, одной, на готовый к отходу корабль, который, прежде чем отплыть во Францию, должен был зайти в Басс-Терр, чтобы пополнить груз.

Стояла ночь, из тех ясных ночей, которые меняют облик местностей и превращают в другие города — города, виденные днем. Не в силах вынести ее зрелища, я запрягалась в низкую каморку в том доме, где я нашла приют после восстания и смерти моей матери. Я ждала, чтобы старые часы, шумное тиканье которых я слышала за стеной, пробили минуту отъезда, как вдруг пришел губернатор и предложил, от имени своей жены, чтобы я осталась жить у них в семье и подождала более благоприятного случая вернуться во Францию.

Он рассказал молодой вдове, которую я покидала, какие опасности меня ждут на этом корабле, действительно, таком убогом, что он был похож скорее на большую крытую лодку. Это купеческое судно везло в Европу сушеную треску, китовый жир, и на нем не было никакой другой провизии, кроме нескольких кусков солонины и сухарей, которые надо было дробить молотком. Огонь в вактоузе и труб-

¹ Гваделупа состоит из двух островов: Grande Terre, с портом Pointe-à-Pitre, и Basse Terre, с одноименным портом. (Прим. перев.)

ках был единственный, которым предстояло утешаться в этом долгом пути. «Она умрет, — говорил губернатор расплакавшейся вдове, — я вам говорю, сударыня, что она умрет!»

Сквозь стену до меня доносились все их слова, но ни одно из них не изменило моей решимости ехать. Позвали меня, чтобы я ответила сама. Я плакала, но от всего отказывалась, до того мне было страшно остаться. Мне казалось, что, скорее, чем согласиться, я бы отважилась на то, что попытался сделать один живший в этом доме негритенок, который хотел было последовать за мною: я бы кинулась в море, надеясь, как и он, что у меня хватит силы в руках доплыть до Франции.

Ужас гнал меня с этого зыбучего острова. За несколько дней до того землетрясение опрокинуло меня на кровать в то время, как я, стоя перед зеркалом, заплетала косу. Я боялась стен, я боялась шороха листьев, я боялась воздуха! Крики птиц звали меня уехать. Среди всего этого населения, умирающего или оплакивающего мертвых, одни только птицы казались мне живыми, потому что у них были крылья. Губернатор ничего от меня не добился, кроме слов благодарности и прощального привета. Я, как сейчас, вижу его расстроенное лицо, когда он уходил, предоставляя меня моей участи, которую он предчувствовал роковою. Впервые я решала ее сама...

Я уезжала в полночь. Когда настало время проститься со мною, вдова не могла решиться. Она отослала домой своих слуг, на которых вполне полагалась, и собралась проводить меня те сорок пять миль, что разделяют оба острова. Когда я почувствовала, что матросы с корабля, который ждал нас на рейде, берут меня на руки, я закрыла глаза рукою, не в силах видеть слезы этой милой женщины. К великому моему изумлению, я увидела ее в лодке, рядом со мною, спокойную и довольную, как бывают люди после счастливо оконченной борьбы.

Она сопровождала меня до Басс-Терр, где у нее были друзья, потому что никак не могла отказаться от надежды обеспечить мне более удобный переезд в Европу. Все те дни, что нам пришлось ждать отплытия, она не выпускала меня из своих объятий, и мы не говорили ни слова, глядя на зрелище, окружавшее нас со всех сторон.

С одной стороны — вода, без края, расстилала свою неизмеримую поверхность, черную и блестящую под луною, повторявшаяся в каждой блуждающей волне. Перед нами — гавань, от которой я любила отходить, пятясь, чтобы видеть ее перед собою, и которая казалась мне совсем другою, чем та, куда я прибыла в бурный день; об ее безмолвной жизни мы догадывались по перемещению огней, бегущих от корабля к кораблю. И среди всего этого, навсегда неизгладимого, я увидела бегущую к берегу... — боже, я так давно об этом мечтала! — словом, мне показалось, будто моя мать протягивает ко мне свои ожившие руки... Я не знаю воспоминания печальнее, чем это. Не все ли равно, что было потом и как я вернулась нести свою участь во Францию, по которой я тосковала все время и которая нисколько не тосковала по мне! Любовь к родной колыбели, будь благословенна, тайна сладостная и грустная, как и всякая любовь!

ИТАЛЬЯНСКИЕ НАБРОСКИ

19 июля 1838

По приезде в Милан, я первым делом побежала на почту. Солнце, пыль возбудили во мне жажду писем от сына и от тебя, но до сих пор ничего нет, несмотря на то, что я шесть дней задержалась в Лионе и Турине. Об этом городе я поговорю с тобою только через несколько дней. Печальное сердце все искажает. Я не решаюсь сказать, каким он мне кажется сейчас, чтобы не начинать с начала после того, как получу от вас первые вести. Тогда выйдет, может быть, совсем иначе.

Приехав в удушающую жару и по широкой, совершенно открытой дороге, мы были сожжены солнцем, и каждый из нас походил на кучу движущейся пыли. Директоры сострадательно ожидали нас на почтовом дворе и пересадили нас в свежие экипажи, которые помчали нас по городу с такой быстротой, что мне казалось, будто я лечу во сне и меня овевают его крылья.

...Все улицы окаймлены голубыми плитами, предназначенными для пешеходов, так что по улицам гуляют или ходят всегда вдоль самых домов. Середина отведена экипажам, изящество которых замечательно. Многие запряжены четверкой, украшены лентами, гербами и богатой сбруей. Дамы сидят в них, как в ложах, очень спокойно, очень на виду и одетые с большим вкусом. Что им

главным образом удивительно к лицу, так это их волосы, у большинства прекрасные, спадающие с висков на грудь длинными кольцами, которым они умеют придавать прочность, несмотря на ветер и крайнюю жару. Я видела много прелестных женщин... На прогулке они смотрят высокомерно и холодно, держатся прямо, непринужденно и с достоинством.

Население как бы делится на две породы, совершенно различные: одна — здоровая, стройная, законченная; другая — калечная, жалкая, ползучая. У дверей, на улицах, в церквах, всюду уродливые карлики, обезображенные зобами и убогими конечностями, которые они подпирают костылями. Это очень грустное зрелище для тех, кого привычка не сделала к нему бесчувственным. Немного найдется бедных семейств, избавленных от этого злополучия; к счастью, с ним связано благочестивое суеверие, и об этих несчастных заботятся, как о своего рода благодетельных семейных гениях, принявших этот смиренный образ для того, чтобы охранять дом от всякого зла.

... Однажды вечером наш хозяин повел нас смотреть Сант-Амброджо, который нам очень хотелось видеть, из-за его огромной славы... Я думала, что, как в Санта-Мария у Сан-Чельзо, меня прежде всего поразит, ослепит изящная и легкая внешность здания, — но это не так. Все — строго и мрачно, словно вступаешь в ранние мистерии христианства. Монастыри, окружающие церковь, голые стены, дворы, полные диких трав, едва различимые фресковые росписи, массивные готические двери, все свидетельствует об изменениях, которые претерпела религия в своем первоначальном единстве. Мне казалось, что я под землей, под тяжестью четырнадцати столетий, двинувших в глубь времен эту церковь, которая все еще стоит непоколебимо. Утверждают, будто медная змея, водруженная на высокой мраморной колонне, запела на ней

в день рождения святого Амвросия... Две бронзовых двери представляют все, что человеческий труд может дать чудесного; в каждой группе, вычеканенной с удивительной тонкостью, сказываются искусство, терпение, пламенная любовь... Перед такими вещами чувствуешь себя ничем. Их обладатели настолько понимают их ценность, что защищают эти чудеса искусства двойной решеткой, запирающейся на двойной замок. Этот замок — львиная голова, и ключ вставляется ей в пасть.

...Во всей той музыке, которую я слышу в Милане, вечером, в школах, в церквях, даже в колокольном звоне, ничего мечтательного, ничего скорбного; все носит характер кантаты или бравурной арии, и это я не по веселости сердца так воспринимаю и сужу их музыку... Голоса народа, такие трогательные в Беарне, такие торжественные в Германии, здесь почти так же обыденны и так же крикливы, как в Лионе; страна фальшивых и грубых голосов, за несколькими прекрасными исключениями. Я лично хотела бы, чтобы ты была здесь, чтобы сходить с тобою в собор, чтобы обойти с тобою вокруг городских стен и этого собора, который отовсюду возникает, как чудеснейшее из видений...

...Я то-и-дело начинаю что-нибудь записывать для тебя, и меня отрывают от этого утешения тысячи дел, которые не дают мне вздохнуть. В Париже я ежеминутно вскакивала на звонок, встречать посетителей, часто таких пустых и удручающих, от которых я не могла уклониться благодаря моей совестливой служанке, не желавшей лгать и губить свою душу, говоря, что меня нет дома.

...Здесь я живу в предместье, у Римских ворот. Ни одна душа ко мне не заходит. Звон колоколов, пение петуха, звуки выстрелов, раздающихся во время представлений в театре, фойе которого выходит своими маленькими окнами в тот же садик, что и мое единственное окошко,

вот и все, что сопровождает всегда торопливые биения моего сердца, любящего тебя повсюду, но часто я могу только думать о тебе и не имею возможности писать. У нас нет никого, кто бы нам помогал по хозяйству, и мои дни уходят на эту работу, возвращаться к которой здесь тяжело, в виду крайней жары и отсутствия утвари. Чаще всего на улицах, где я нередко брожу, идя на почту или куда придется, моя душа задумывается над странным положением, в котором я очутилась с моей семьей. Преимущественно здесь я и пользуюсь меланхолической свободой бродить, говорить, плакать, среди этих пустынных улиц, этих незнакомых домов...

15 августа

...Трое священников поют и опаляют день тремя зажженными свечами; во главе шествия священник с золотым распятием; мужчина, несущий на плече лакированный ящичек, зеленого цвета и не такой гнетущей формы, как та, что принята для гробов во Франции, — таковы были похороны бедного ребенка из простой семьи, которые мы встретили на улице, или борго, ди Порта Романа. Они двигались посреди густой толпы, распевавшей, кричавшей, бежавшей в пыли и солнце, и люди, расступившись, чтобы пропустить священника, даже не оборачивались вслед бедному гробику.

На следующий день, на том же самом месте, проходила длинная вереница священников и факелов, борющихся в грустном бессилии с лучами могучего солнца. Женщины, мужчины, дети, с погребальными свечами в руках, заполняли улицу и пели. Посреди этого шествия, под белым покровом, который держали за края восемь маленьких плакальщиц, реял легкий гроб, покрытый белой камкой

с серебряным шитьем и удивительно красивыми цветами и венками. Молодые девушки, шедшие с этой пошей, смеялись, одетые, словно на праздник, в сияющих белизною покрывалах, жемчугах и белых лентах. В этот день плакала богатая мать. Мы помолились и об этой скорби, всегда одинаковой для материнских сердец.

...Я не могу привыкнуть к звуку колоколов, которые раздрают воздух, совсем как голоса итальянских женщин. Те всегда словно в ярости, когда разговаривают, и с такой невероятной легкостью переходят от резких нот к самому свирепому контральто, что отказываешься верить тому, что это и есть язык, наиболее прославленный за свою прелесть и благородство. Надо, повидимому, на нем читать и слушать пение; но когда на нем говорят, лучше бежать. Не поэтому ли нежный и чистый голос, прозрачная дикция и выразительные интонации мадмуазель Марс,¹ ее жемчужный смех, волнующие слезы вызвали здесь неопишущее удивление и восторг?..

31 августа

...Вчера, в театре, ...мы видели одно из самых грустных зрелищ на свете (для меня, по крайней мере), Марию-Луизу,² старше своих лет, несмотря на ее изящный туалет и жасминовую наколку, необъяснимую Марию-Луизу, чье сердце остается неразгаданным, чье бесстрастное лицо не выражает никаких чувств. Я, зато, была взволнована, когда, в узком коридоре, где ее ложа была рядом с нашей, прошла поневоле так близко от нее, что ее платье меня задело; признаюсь, я в первый раз в жизни

¹ Известная актриса (1779 — 1847). Марселина Деборд-Вальмор подружилась с нею в Брюсселе, в 1818 г. (*Прим. перев.*)

² Вдову Наполеона I.

старалась заглянуть в лицо человеку, который хотел оставаться незамеченным в скромной, неосвященной ложе. Но князь Меттерних и особенно его белый с золотом мундир ее выдали. Мадмуазель Марс, когда я ей сообщила, что рука, которой она касалась, — рука Марии-Луизы, стала прилагать все усилия, какие только дозволялись приличиями, чтобы заставить хоть слегка обернуться эту неподвижную женщину. Ей так и не удалось. Когда я увидела, что она встает, чтобы ехать, я, словно невольно, оказалась на ее пути. Она шла, нагнувшись, как бы всматриваясь в ступени еле освещенной лестницы, по которой спускалась. Ее белое платье, очень легкое и очень просторное, задело меня. Ее лицо показалось мне очень длинным и очень румяным, но мягким и спокойным. В эту минуту перед глазами у меня мелькнуло нечто такое, от чего я содрогнулась. Я увидела, как мертвый император и король Римский, тоже как тень, идут за нею по этому холодному коридору, и я с трудом досидела до конца «Июанны Неаполитанской», чьей ужасной развязки она, быть может, не могла вынести...

19 сентября

Я тебе пишу и думаю под оглушительный шум колеса, которое вертят во дворе, готовя мороженое; этот ползущий в воздухе шум делает мои мысли — у меня такое ощущение — похожими на мух, которые не могут взлететь. Мои мысли тоже ползут и вызывают у меня дурноту. Сейчас начнется визгливая молитва в итальянской школе, где дети, забавы ради, стараются драть себе глотки. И потоки воды по крышам, на высоте нашего окна, и такая сырая комната, что неоклеенная стена течет и словно плачет. — Италия! Когда твое прекрасное небо затянуто, скажи мне, открой

мне, что ты даешь твоим несчастным? А их много вокруг нашей беды. — Милан, все еще Милан! Разве не в Италии Тассо сошел с ума... и ты также, бедный Виоле! ¹... Этот город, на вид такой пустынный, приютил в одной из больниц две тысячи сумасшедших.

¹ Слуга м-ль Марс.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

П И С Ь М А

Печатаемые здесь письма и выдержки из писем переведены с французского, по следующим изданиям: *Correspondance intime de Marceline Desbordes-Valmore*, publiée par Benjamin Riède. 2 vol. Paris. 1896; *Marceline Desbordes-Valmore. Lettres inédites*, recueillies par Hippolyte Valmore. Paris. 1911; *Lettres de Marceline Desbordes à Prosper Valmore. Préface et notes par Boyer d'Agén*. 2 vol. Paris. 1924; *Spoelberch de Lovenjoul. Bibliographie et littérature*. Paris. 1903; — *Sainte-Beuve inconnu*. Paris. 1901; *Jacques Boulenger. Marceline Desbordes-Valmore*. Paris. 1909; *Arthur Pougin. La jeunesse de Mme Desbordes-Valmore*. Paris. 1898; *Lucien Descaves. La vie douloureuse de Marceline Desbordes-Valmore*. Paris. 1910.

Марселена Деборд-Вальмор писала много писем (хотя, при вечной ее бедности, ее часто страшил расход в два су, и нередко, когда ей казалось, что письмо вышло чересчур увесистым, она испуганно спрашивала мужа: «Тебе, верно, пришлось много заплатить за него?»). Но сообщение, изменяющие чувства было для нее неодолимой потребностью: письмами можно утешить, себя и других. Ими можно облегчить душу, как слезами.

Итак, она писала много писем, и благодаря этой полноте чувства они принадлежат к числу прекраснейших женских писем, какие мы знаем. Их нельзя сравнивать с литературными посланиями мадам де Севинье, этой «*grande épistolaire de France*»,¹ или, скажем, с письмами Рахили Варнаген фон Энзе или Беттины фон Арним, чарующими, но все же рассчитанными на то, что их будут читать и что по ним станут судить. Скромнейшая из скромных, она никогда не предполагала, чтобы эти признания, — где повседневность домашних забот, безденежья и мелких житейских дразн непосредственно перемешана со стихийнейшими порывами чувства, — когда-либо могли быть напечатаны: небрежно, не задумываясь, уступая лишь внутреннему побуждению, писала она свои письма (по большей части до самого низа листка, чтобы не тратить бумаги, которая казалась ей драгоценнее, чем ее собственное струящееся чувство). Они никогда не стараются быть глубокомысленными, литератур-

¹ Великой письмописицы Франции.

ными или одухотворенными, и, действительно, их умственный груз невелик; Марселена Деборд-Вальмор слишком была женщиной, чтобы мыслить строго-логически и метафизически-построительно. Но вместо проникновенных мыслей ее письма нередко содержат нечто, что я бы назвал мыслями чувства, произвольные постижения сердца, подлинные молнии чувств, которые и в словесном отношении находят для себя поразительнейшие формы. Нельзя назвать кокетливо-остроумным, но в душевном смысле гениально, когда она, например, пишет приятельнице, после того, как у ее дочери родился ребенок: «Маленькая колыбелька привязывает меня к дому Ондины, которая счастливо разрешилась (и я тоже!). Вы когда-нибудь сами узнаете, до чего бываешь беременна детьми своих детей». Такие первобытно-творческие слова сплошь и рядом небрежно льются с ее пера, причем сама она никогда не остановится в самолюбовании, и почти каждое ее письмо, даже самое белое, для всякого нежного ощущения находит поразительно тонкое выражение. Отдельные драгоценности, все эти претворенные в слово крики, стоны, сердечные чувствования, нечаянные открытия посреди наивных признаний — почти неисчислимы, до того тесно жмутся они друг к другу.

Но самое прекрасное в этих письмах, это то, что они целиком правдивы. Их около двух тысяч, и в них нет ни единой лжи, будь то даже слишком простительная ложь сострадания. Предстает обнаженная душа, но не в обдуманной позе тех, кто чувствует перед собою зеркало грядущей гласности (и, как Рахиль или как Беттина, не без охоты к нему подходит). Чуждая стыдливой замкнутости, здесь женщина говорит с близкими ей людьми о всех тайнах своей жизни и своего чувства. Благодаря такой безусловной подлинности, эти письма становятся важными документами не только для ее лишь биографии: душевный строй истинной женственности вообще редко где достигал такой

прозрачности, как в непритворных признаниях этой возлюбленной, жены и матери.

Собранные здесь письма приведены по большей части лишь в отрывках; повседневно-домашнее и маловажно-частное в них опущено. Их имелось в виду воспроизвести лишь в той мере, в какой они являют нам внешнюю и внутреннюю жизнь поэтессы в свете времени и обстановки, и я надеюсь, что этого подбора достаточно для того, чтобы предложенный во вступлении набросок оживить красками ее собственных слов.

К НЕВЕДОМОМУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ

Из писем Марселины к «Оливье», к неведомому возлюбленному, обнаружены всего лишь два, благодаря каталогам автографов, — собственно даже не письма, а скорее «залисочки», как называл Гете те торопливые послания, которыми он обменивался с госпожой фон Штейн. Все существенное уничтожено (или, если обольстителем был действительно Анри де Латуш, сожжено в 1871 году при немецком нашествии вместе со всеми его документами и наследием Андре Шенье). Печатаемые ниже два письма представляют для нас, на ряду со стихами, единственные свидетельства об этом решающем эпизоде, недостаточные для того, чтобы его осветить, всего лишь мерцающие молнии в таинственном мраке этой трагической загадки.

К ОЛИВЬЕ

Январь 1809 или 1810

Завтра утром не приходи, любимый, мне надо быть в тысяче мест, с необходимыми визитами. Вчера ко мне явился с таковым некий толстый остроумец, весь в пудре, и первым делом опустился на колени, прося снисхождения. Я рассмеялась и приняла от него подношение конфет и альманахов, — что я говорю! — самых драгоценных сборников на свете, потому что в них заключено имя всего того, что я люблю. Я целовала это имя, которое решит мою судьбу. До свидания, мой Оливье.

А мои три грации, мои три приятельницы? Принеси же их мне, прошу тебя, не пропускай ни одного дня, не поработав. Помни, что ты занят моим счастьем. Мне она нужна, эта милая деревянная нога, этот несчастный растерзанный поэт и, в особенности, этот уродливый и интересный цырюльник. Как ты хорошо сделал, что поместил их в Испанию! Они никогда не забнут. Будь и ты с ними, дружок, чтобы мы могли погреться на самом чистом солнце. А пока мы увидимся в субботу, у камелька нашей приятельницы.

1809 или 1810

Помни хорошенько твое обещание, дорогой, любимый; не забывай, что у меня есть душа только для того, чтобы тебя любить, чтобы следовать всюду за тобой и участвовать во всех твоих делах. Не будем никогда разлучаться на несколько дней; я слишком измучилась. Завтра, в четыре, я тебя жду. Люби меня, дружок, ответь моему сердцу; о, я умоляю тебя, люби меня крепко! Это все равно, как если бы я тебе сказала: Подари мне жизнь. Твоя любовь — еще больше для меня, Оливье, мой Оливье! Ты не знаешь, до какой степени ты можешь сделать меня счастливой или несчастной.

ПИСЬМА ОБ АНРИ ДЕ ЛАТУШЕ

Если, как то все настойчивее утверждают французские исследователи (хоть и не могут привести несомненных доказательств), обольстителем Марселины и отцом ее внебрачного ребенка, тем, к кому обращены приведенные выше «записочки», был действительно Акри де Латуш, то нижеследующие письма представляют тем больший психологический интерес. Ибо они (первые два) написаны ею к мужу, тридцать лет спустя, когда Латуш ухаживал за дочерью Марселины, и дышат крайним презрением и неприязнью к нему.

Тем великолепнее выделяется ее письмо к Сент-Беву, написанное после смерти Латуша. Как только тот умер, этот неудержимо любопытный до всякого рода личных обстоятельств критик, этот «*voeuir in psychologicis*»¹ тотчас же обратился к Марселине с письмом, прося ее изобразить ему характер Латуша (как будто он и сам не знал его очень хорошо). Он надеялся исторгнуть у нее при этом какой-нибудь изблещающий возглас. И действительно, ее ответ превратился в потрясающую мольбу за умершего, который ее самое безмерно обижал и мучил; доброе, великодушное сердце бросается на защиту когда-то ненавистного человека, чтобы добиться хоть некоторого снисхождения к его памяти. Была ли упоминаемая ею обида та первая, обольщение и внезапный разрыв, или же она разумеет вторую, преследо-

¹ Прозорливец по психологической части.

вание и м ее дочери, этого она не раскрывает в своем письме, которое говорит ясно лишь о благостном прощении и служит одним из важнейших документов ее жизненной трагедии.

К МУЖУ

6 мая 1839

С г. де Латушем я чувствую себя еще более стесненной, чем когда-либо, и поэтому кажусь, должно быть, сдержанной и холодной, чего я никак не могу преодолеть, хоть и люблю его очень. Но к тем опасениям, которые нам и раньше внушал его характер, теперь присоединились ужасные признания этой несчастной дамы, и мое пребывание в этом имении меня крайне смущает. Я ищу в своем уме и сердце, как мне поступить, чтобы не обидеть ни его, ни ее. От него мы видим доказательства преданности, на которые я должна отвечать признательностью, и когда я пытаюсь от них уклониться, он возражает, что это ты обязал его к ним на время твоего отсутствия. Теперь я знаю, что мой долг велит мне не становиться между двух сердец, которые могут сблизиться, и я ни в каком случае не должна туда возвращаться.

23 июля 1839

Как? Г. де Л... все еще тебе пишет? И он не в Берри? И он жалуется на мою суровость! Право же, мой добрый ангел, все это было бы похоже на шутку, если бы я не считала его очень дурным человеком. Клянусь тебе богом, я встретила его со всевозможной учтивостью, мягко и заранее решив не показывать всего того презрения, которое он мне внушает. Он заходил к нам проститься перед деловой поездкой. Об этом мы еще поговорим.— Ты от меня уже достаточно слышал, чтобы понять то справедливое недоверие, с которым я отношусь к этому характеру, преисполненному ненависти против всех решительно. Куда бы он ни проникал, всюду он вносил только

смуту и горе. Поверь этому моему воплю отвращения и вспомни, что я всегда грешила разве лишь избытком снисходительности к злым душам. Щадя его, будем ему оказывать внешнее уважение, потому что превыше всего он ставит почет. Но быть близким с этим человеком! Но принимать от него услуги! Великий боже, я предпочту просить милостыню! Браншу невинна, как новорожденный младенец, и Полина тоже. Я говорю это только тебе, который меня с ним познакомил...

К СЕНТ-БЕВУ (после смерти
И.-Ж.-А. де Латуша)

18 марта 1851

Огромное изнеможение мешало мне Вам ответить. Извините меня, я пыталась несколько раз; но в каком заюлке моей многотрудной участи найти мне одиночество, чтобы сосредоточиться?

Вы подумайте, ведь на этот раз приходится почти что на могиле требовать какой-то ясности от моей удрученной души. Как же могу я решиться судить, вот так, чужую душу? Какое можно написать суждение, со слезами на глазах?

Да, Вы правы, только «озареннем»,¹ помимо меня, могли бы Вы уловить те впечатления, которые оставил в моей памяти, в стесненной памяти, этот непостижимый дух, занимающий Вас. Но мы не видим друг друга. Как же быть? Ваш голос воодушевил бы меня, и у меня нашлись бы слова, чтобы Вам ответить. Здесь я слишком в самой себе; это, поистине, печальная обитель, а мне бы не хотелось примешивать ни слова личной грусти к моему письму. Но меня прибило к земле столько непоправимых утрат! Эти глухие крики настигают меня отовсюду, как

¹ «А кто лучше, чем Вы, может мне о нем рассказать, чтобы мне его объяснить и озарить?» — писал ей Сент-Бев.

какое-то страшное электричество, и я чувствую, что никто не оценит, чем был для меня этот последний громовой удар... Я и так уже была в трауре, и не успела я откинуть вуаль, как приходится опять опускать ее на душу, и я больше не могу!

При том же, я не поняла, я не разгадала эту темную и блистательную загадку. Она меня ослепляла и пугала. То все в ней было мрачно, как пламя кузницы в лесу, то легко, светло, как детский праздник; невинное слово, искренность, которую он обожал, вызывали в нем чистосердечный смех вновь обретенной радости, воскресшей надежды. Тогда в этом взгляде отражалась такая живая благодарность, что боязливых покидала всякая мысль о страхе. Это добрый дух оживал в его терзаемом сердце, очень недоверчивом, как мне кажется, и очень жаждущем человеческого совершенства, в которое ему все еще хотелось верить.

Нередко казалось, что ему тяжело жить, и когда он разочаровывался в иллюзии, какую горечью облекался вновь этот мимолетный праздник!.. Восхищаться было, мне кажется, самой страстной потребностью его больной природы, потому что ведь он нередко бывал очень болен и очень несчастен! Нет, это был не злой человек, а больной, потому что появление какого-нибудь изъяна в его кумирах повергало его в глубокое отчаяние, говорю без преувеличения. Он как раз находился в таком отчаянии, когда познакомился с нами. Он никогда не говорил об этом открыто в наших беседах, которых искал, должно быть, для того, чтобы рассеять прошлое, полное гроз. Едва ли возможен душевный склад более загадочный, чем у него! А между тем, благодаря его обаянию, благодаря его непритворной мягкости, мой дядя, которого он любил по-настоящему, мой дядя, человек прямодушный, живой и набожный, считал его простым, искренним, сердечным. Он и

был такой! Он и был такой! И счастливый, и утешенный тем, что может им быть благодаря этой ясной сердечности!

Его считали завистливым, в смысле литературном. Он никогда им не был. Но несправедливым, предубежденным, о да! Какой гнев и презрение овладевали им, когда он разуверялся в чем-либо достойном или прекрасном, в каком-нибудь таланте, открытие которого и вера в который наполняли его такую радостью! А после—какая ирония над собственной простотой! Как он мучился тем, что—как он говорил—сам себя ограбил! Он много страдал; поверьте этому и помните это всегда. Он умилялся цветком и приветствовал его благоговейно. Да. А затем сердился, что забыл про его тленность. Он пожимал плечами и бросал его в огонь. Это правда.

Врожденную мягкость, которая уживалась в нем с энергией, не омрачила ли в значительной мере политическая страстность? Мне часто так казалось. Неподкупное бескорыстие, в силу которого он переносил бы нужду без единой жалобы, делало его неумолимым по отношению к слабостям честолюбия и к вялости патриотического чувства, которую он называл преступлением. Быть может, в этом и заключается тайна его великого одиночества.

Мелочное усердие в работе доходило у него до крайности, пагубной для его здоровья, как и для его успехов. Он пригвождал себя к ней, как мученик. И тогда (я знаю это от других) его сердце и голова постепенно как бы заполнялись дымом, и этот дым иной раз заглушал непосредственность, порыв, текучесть, вдохновение, и получалось, как бывает, когда лампе не хватает воздуха. Я, может быть, плохо выражаю свою мысль, но Вы поймете, что я хочу сказать. Я не критикую, боже упаси! Я оплакиваю его несчастье и муку!

Его увлечение немецкой литературой и преобразованием Вашей имело над ним большую власть. Впоследствии

я позволяла себе удивляться тому, что его поэзия, хоть и изящная, но все-таки, быть может, жеманная, почти ни в чем не освободилась от рабства, которое было ему ненавистно, как это доказывают его восторги перед смелыми подвигами г. де Мюссе и перед новшествами всех вас, окрылявшими его надеждой.

С тех пор я не знаю ничего определенного и больше не видела вблизи этот гений, ставший таким горестным. Только отдаленными, редкими и печальными откликами искал он нас. Его книга о Клименте XIV напомнила нам самые очаровательные его беседы с моим дядей, который его подзадоривал. «Фраголетта» преисполнила меня удивления и страха. Затем «Гранжнев» вернул нас к нашей привычке жалеть о нем и надеяться на него. В дальнейшем, быть может потому, что он старался обуздать свое воображение и свою писаную речь, он повредил их свободе и блеску. Его последние книги я не решалась читать!.. Я повторяю Вам, быть может напрасно; но его живая речь была более неотразимой, когда он чувствовал, что его хорошо слушают и хорошо понимают, и когда он мог передохнуть от своей черной болезни. Наедине с собой, он слишком много думал о публике, которая судит холодно, грозный и верховный судья! И тогда пламя страдало от слишком долгих раздумий. Боязнь показаться смешным сковывала отвагу, которою он восхищался в других. Он был не из тех, кто способен сносить земные унижения, и он не ускорял шага, из страха упасть!.. Он предпочитал погибать в неподвижности, лишь бы не вызвать смеха неосторожным движением, того самого смеха, на который сам он не всегда скупился, в котором часто раскаивался! Разве не кажется это и Вам? Разве не заметили Вы сами, и вполне правильно, что он далеко не причинил всего того зла, какое мог причинить? Глубокая справед-

ливость и глубокое милосердие заключены в этих Ваших словах.

Какой великой власти над своим гневом должен был он достигнуть! Какое безмолвное величие в том, что он не мстил, он, чья пламенная гордость столько раз считала себя смертельно оскорбленной, потому что бояться его—значило оскорбить! Этого его мужества, немого и одинокого, хватит на то, чтобы искупить все те слезы, которые из-за него были пролиты. Вы тоже так думаете, не правда ли? О, думайте так, скажите это, как Вы все умеете сказать, чтобы быть правосудным, потому что есть слова, которые слышны между небом и землею и которые могут утешить везде!

Решите Вы, не сама ли ограничила свой полет эта хмурая душа, не телесные ли страдания омрачили эту славу, которая возвещалась такой высокой!

Вот только так, в беседе с Вами, я и могу выразить мою мысль... Чем она может помочь Вашей? Но и в этом мире, и всюду, я всегда Вам ее выскажу именно так, потому что я верю Вам, верю в Вашу дружескую снисходительность ко мне и к моему темному разуму.

Нижеприводимые письма рисуют (на мой взгляд — с чудеснейшей непосредственностью) чувства Марселины, когда, уже семь лет как покинутая своим возлюбленным, а за год до того лишившись своего внебрачного ребенка, она навсегда отказалась от мысли о каком бы то ни было счастье, и вдруг к ней посватался значительно младший ее годами «красавец Вильмор» (так называли, и портрет оправдывает это прозвище, ее партнера по Брюссельскому театру). В начале своей артистической карьеры, в Бордо, она знавала его еще мальчиком и встретила с ним двадцать лет спустя на сцене, где он дебютировал, как молодой любитель. Привлекенный ее кроткой задумчивостью, он пытался к ней приблизиться и обратился к ней с письмом, где делал ей предложение, на которое она, почти испуганно, ответила первым из приводимых ниже писем, но все же затем, после короткого и ласкового сопротивления, 4 сентября 1817 года, стала его женою.

К ВАЛЬМОРУ

Брюссель, 1817

Нет, я не ответила. Мне хотелось не придавать значения тому, в чем я видела всего лишь шутку. И эта мысль меня сковала страхом.

Какое письмо Вы мне пишете сегодня! Как оно меня взволновало! Не злоупотребляйте выражениями, поверьте мне, никогда не злоупотребляйте ими. Нет ничего искреннее, чем мое сердце. Я могу его отдать, только отдав мою жизнь, и не в Ваши годы, когда кругом тысячи искуше-

ний, обещают любовь без границ, любовь до гроба!.. Так не старайтесь же внушить ее мне, — я столько страдала!

Да, Вы хорошо сделаете, если будете меня избегать. Это единственное разумное в Ваших намерениях, которых я не понимаю. Я тоже буду избегать Вас, — я уже завела себе эту печальную привычку. Чего бы я ни сделала, чтобы жить в мире с самой собой! Разве Вам не было бы жаль, если бы Вы снова привязали меня к жизни, чтобы потом превратить ее для меня в много рода мучение? Ах, оставьте меня, прошу Вас, я — печальная, я не создана для того, чтобы любить. И быть любимой я тоже не могу. Я не верю в счастье!

Почему Вы говорите, что Ваша грусть отдаляет мое сердце от Вашего? Неужели Вы это думаете? Вполне ли Вы искренни, когда так пишете?

Вы упрекаете наше злосчастное ремесло, что оно нас с Вами сблизило. Это очень жестокие слова. Если Вы на это жалуетесь, то разве я не в праве его возненавидеть? Но простите ему, оно может все исправить, разлучив нас в скором времени. Мне остается узнать, что Вы этого хотите, для того, чтобы этот отъезд мог быть решен.

Нет, это не Ваша нежность подсказала Вам написать мне, это и не Ваша достойнейшая мать; она отсоветовала бы Вам смущать мою душу. Вашу душу я ни за что на свете не хотела бы огорчить, слышите? В чем же вы меня обвиняете? Какое еще могу я Вам теперь дать доказательство моего уважения к Вам, в котором я еще раз и навсегда хочу Вас уверить?

М. Деборд.

Брюссель, 1817

Вы говорите, что Вашу робость я приняла за гордость. Мою печаль Вы приняли за высокомерие. Мы оба ошиблись. Как можно быть высокомерным с человеком, кото-

рого давно научился чтить? Но почему Вы стали бы передо мною извиняться? В чем я Вас упрекнула? Какое основание и какое право могла я иметь на это?

Вы так добры, что придасте некоторую цену моему мнению и желаете его знать. Так вот оно: по моему, Вы обладаете всеми качествами честного человека, в соединении со склонностями, свойственными Вашим годам.

Теперь Вам известно все, что я думаю. Перестаньте же обижаться на сдержанность, естественную в тех, кто несчастен. Никогда не приписывайте ее высокомерию, если Вы действительно так подумали, и поверьте, что я всегда была бы счастлива доказать Вам чем угодно, кроме веселости, исключительное уважение, которое я рада питать к Вашей семье и к Вам.

Это, как будто, и все, что Вы хотите знать?

Теперь Вы должны быть уверены, что нет никого, кто был бы искреннее, чем я, Вашей покорной слугой.

М. Деборд.

Брюссель, 1817

Вы думаете, я способна выразить то, что во мне происходит, мой друг? Вы думаете — да? Подавленная счастьем и изумлением, я боюсь... простите меня, я боюсь отдаться душой тому чувству, которым она полна, которым она угнетена. Да, это душевное упоение — почти что мужа. — О, пощадите мою жизнь! Она еще хрупка и ненадежна. С тех пор, как она Ваша, я боюсь всего, что может ей грозить, и надежда на неожиданное, бесконечное блаженство кажется мне свыше моих сил.

И скажите, мой дорогой, Вы и в обычные жизненные отношения вносите то же обаяние, ту же мягкость, которая меня трогает, которая влечет меня к Вам? Тогда какое счастье Вас любить! быть всецело любимой Вами!

Так значит, очарование наших первых взглядов не будет разрушено? Я смогу смотреть в Ваши глаза, читать в них свою судьбу, милое будущее, нежное и торжественное обещание уз, которые нас соединят!..

О боже, если я пуглива, то падо простить это чувство, это сама любовь трепещет перед любовью. Если она робка в своих признаниях, в своих надеждах, то Вы же знаете, что она лишь тем совершеннее и тем вернее. Все дни моей жизни оставят тому доказательство в нашем воспоминании, мой возлюбленный! Да, сегодня вечером мы увидимся! — Как сладостно об этом думать! Вся моя печаль опять изгладится... Так Ваша мать станет моей матерью! Ваш отец заменит того, кого я все еще оплакиваю... Знаете ли Вы, как нежно я буду его любить?.. Скажите, что Вы это знаете! А меня, будут ли они любить? — О, попросите их, чтобы они меня любили, чтобы они начали теперь же и не кончили никогда...

Брюссель, 1817

Знаешь, Проспер, что я нашла в твоём письме? — Душу, которой ждала моя душа!.. Вчера... все эти дни для других людей протекли, а для меня нет; я ими окружена, — время остановилось, чтобы я могла вздохнуть, — я бы умерла, если бы оно бежало слишком быстро. — Томи! мой обожаемый Томи! Если твоё сердце бьётся, то посмотри, как дрожит моя рука.

Я счастлива. — Как раскрывается моя душа при этом слове, которое я забыла, которого я не знала... никогда. Ты его высек для меня на небе, в этом мире... повсюду... Я прочту его в твоих глазах! Как? Так значит, жизнь, это — счастье?.. Бог да пошлет тебе блаженство подобное тому, в котором живу я. Я не знаю, где я; скажи мне, где я, мой дорогой! О да, Томи, пощади мою жизнь, от радости умирают.

Видел ли ты вчера, видел ли ты мою нежность? В моей боли... в том упоении, которым она сменилась? О, к чему жалеть о нескольких часах такой живой муки? Каким они искуплены восторгом! Какую душу ты мне подарил!.. О, я не могу больше писать, право. До свидания, Проспер, мой дорогой супруг!

Твой отец очень меня любит.

Я к нему так внимательна, что и Вас люблю немножко. Не правда ли, я очень вежлива? Вы сейчас увидите мой грациозный реверанс.

О, дай мне прочесть еще одно такое дорогое письмо, которое жжет мне сердце!

Тридцатипятилетнее и только смертью расторгнутое супружество Марселины находит отражение в печатаемых ниже письмах. Совместная жизнь Вальморов не знала настоящих потрясений; лишь изредка ее омрачало отношение каждого из них к искусству другою. Проспер Вальмор — и не без основания — ревновал Марселину к ее стихам, которые, в силу непреклонной честности ее сердца, всегда говорили о ее любви к первому возлюбленному, к обольстителю, ибо ему, несмотря на все унижения, остались неизменно верны ее чувства, ее душа. Втайне Проспер надеялся, что теперь он станет предметом ее поэзии, но увидел, что соперник, постыдно бросивший его жесу, попрежнему жив в ее внутренней жизни; мало того, на него была возложена мука корректировать стихи, обращенные к тому, к незабытому. Эта ревность к далекому и все же неизнанному из ее сердца пробудила в нем прямо-таки ненависть к поэзии Марселины, так что та, в своей доброте, нераз хотела вовсе отказаться от творчества. И она так бы и сделала, если бы эта ее потребность высказываться не была в ней стихийной.

И наоборот, ей самой искусство или, вернее, неискусность Проспера доставляет немало тяжелых часов. Ибо Вальмор — музыкант плохой, его сценический пафос нигде не нравится, его даже освистывают, и на долю Марселины выпадает утомительная задача — поддерживать, вопреки внутреннему убеждению, тот самообман, в котором пребывает злополучный провинциальный комедиант. И только когда он на-

конец расстается с искусством (как далек он был от него!) и становится скромным чиновником, наступает конец тревоге. С этой поры, совместно пережитая нужда, совместно перенесенное горе все теснее связывают их друг с другом, и их супружество погружается в сумерки неприхотливого счастья, хотя задушевнейшие ее признания всегда обращены, минуя его, к подруге ее сердца, а ее заветная тайна, любовь к Оливье, никогда не гаснет в ней до конца.

К ВАЛЬМОРУ

Сен-Реми, 22 марта 1820

Никогда больше, мой дорогой, никогда больше я не оторвусь от тебя; ведь это добровольно вырывать себе сердце. Но по крайней мере не беспокойся, путешествие мое было удачно. Приехала я в шесть часов. Против дома твоего сына кормилица, мать, муж и Драрье ждали меня, чтобы проводить к нему. Я бросилась бегом, уверяю тебя, не чувствуя даже, что целую ночь провела в экипаже. Я пробыла у нашего дружочка час. Он живой, как рыбка, все его движения такие быстрые, что едва удается разглядеть его хорошенькие, подвижные черты. Его лицо — настоящий калейдоскоп, вечно новое и вечно милое. Кожа его удивительно белая, глаза — чудесные синие, но не такие большие, как у тебя. Рот спокоен, когда он спит, но при мне он не спал, и рот его казался мне то большим, то средним, то чуть заметным и всевозможных очертаний. Он держится совершенно прямо, а когда его укладывают, гордо приподымается на своих ручонках и глядит на всех. Кушает он с любовью, высасывает грудь у кормилицы до последней капли. Волосы у него гораздо светлее, чем когда он родился. Он в восторге, когда его гладят по головке; это очаровательный барашек. Я дважды присутствовала при его туалете; по-мосму, он удивительно высокого роста и безупречно сложен. Я могу рассказы-

вать тебе о нем целый час, и нам с тобой все будет мало. В избе вокруг него все восхитительно опрятно. Дорогой Проспер, приезжай взглянуть на него на святой неделе.

Париж, 14 апреля 1827

Я посвящаю целый день отдыху, и немалую его долю получишь ты, мой дорогой. Мне столько надо тебе поведать! любить тебя, сказать тебе об этом! Твое последнее, очаровательное письмо я взяла вчера утром у дяди; как оно мне помогло! Ты не думай, что в этом путешествии все хорошо; во-первых, без тебя всегда будет пустота, которой я не могла бы долго вынести, не заболев. Но уверенность, что я скоро буду с тобой, помогала бы мне мириться с нарушением моих дорогих привычек. Разве ты не знаешь, до чего ты — я сама, до чего я живу теперь одним тобою, потребностью быть вместе, чувствовать на себе твои руки, твои глаза, эту любовь, эту искреннюю душу, окружающую мое существование, которое, без тебя, было бы для меня невыносимо! Да, ты можешь мне дарить, у меня есть, чем тебе вернуть, и если ты имеешь счастье любить свою жену, то я имею счастье предпочитать тебя всей вселенной. Я хочу тебя одного, я люблю тебя одного. Прошу тебя, не говори мне ни о венцах, ни о таланте, ни о чем. Тщеславию нет места в моем сердце, полном нежности, полном слез, потому что я, знаешь, часто плачу, тайком, и не всегда от грусти!

Гренобль, 18 ноября 1832

Надежда и Гренобль! Мы в них утвердились сегодня утром, в семь часов, мой добрый Проспер; я видела г. Фрусара! Порадуйся и ты той радостью, которую я испытала, увидав, что он даже еще лучше, чем мы могли надеяться. Ипполит будет счастливейшим из детей вдали от родительского дома... Какая я неблагодарная, что плачу не от

радости... Но, как я ни стараюсь, радости нет. Я никогда не думала, что это может быть так горестно... Мне остается только покориться, как те, что подставляют голову...

Твое письмо, которое я получила вчера перед самым отъездом из Лиона, твое последнее письмо из Парижа, мой друг, доставило мне много слез. Оно вернуло меня ко временам мучений и горя, которых не надо будить, раз уж мне удалось их пережить. — Как? Я притворяюсь? Я! И ты говоришь это про меня—про меня, так ужасно подавленную тогда тем чувством презрения, которое, как мне казалось, я тебе внушала! Знаешь, что я скажу тебе: люди живут слепыми, живут бок-о-бок и не понимают друг друга. Видно, уж очень невняты мои мысли, мой друг. Меня, которая так правдива, я бы сказала—так наивна со всеми другими, ты меня боялся! И это — когда мое сердце было измучено твоей холодностью и твоей усталостью от меня! Мне так казалось... Почему ты говоришь, что я не люблю «согласованности» в домашней жизни? Что общего между величавым заблуждением двух существ, которые захотели соединиться, любить друг друга и дать друг другу счастье, и ревнивыми придирками матери, обиженной в своих мелочных притязаниях и боящейся покушений на свою власть? Ах, Проспер, как грустно бывает обнаружить, что именно было причиной стольких пролитых слез! Будь уверен, мой друг, это и есть тот первоисточник, откуда ты, бессознательно, почерпнул тысячу смутных предубеждений против меня; ты часто смотрел на меня сквозь очень беспокойные суждения твоей мамашы. Я уважаю те подлинные достоинства, которыми она обладала, но она, без всякого злого умысла, была очень жестокой с нами. Будь самим собою! Постарайся увидеть меня такою, как я есть, твоей преданной, твоей близкой и, смею сказать, твоей доброй Марселиной! и твоим единственным настоящим другом!

Лион. 23 ноября 1832

... И потом, послушай: ты говоришь, что я перетолковываю твои слова, что я делаю тебе больно. Больно тебе! когда я готова отдать тебе всю свою кровь, когда я готова пойти за тобой на край света, и всюду, и чего бы то мне ни стоило? Ну, хорошо, прими же искреннюю клятву, что никогда ни одно умышленное слово не воскресит перед тобой прошлого, что для меня оно уничтожено и что я заклинаю и тебя забыть его тоже. Но и ты считайся с тем, что есть! Потому что ты суров к самому себе, ты не хочешь верить, что другие тебя любят, и любят, и любят! Будь отзывчивей, будь смелее; я ни на кого не бываю зла, и вдруг на тебя! Давай, поцелуемся, Проспер, хорошо?

1 декабря 1832

Я читаю и перечитываю то, что ты имел жестокость сказать мне про мою нежность; я плачу и я виню тебя, удивляясь. Как? За то, что я с таким тягостным терпением таила от тебя свою муку, ты вот чем мне отплатил, дорогой и неблагодарный друг! Если не было бурных взрывов, которые делали бы тебя несчастным, которых я боялась ради твоего спокойствия... и которые, к тому же, казались мне, должны были бы еще больше отстранить тебя от меня, то ты это принял за холодность! О, это слишком мучительно! А между тем, этим готовы были воспользоваться, быть может, чтобы отнять тебя у меня? Я чуть не умерла и чуть не задохлась от молчания. Ты ничего не понял, — ослепление сердца, из которого я так долго считала себя вычеркнутой! Ты пожалеешь об этом! скажи! ты будешь плакать вместе со мною о том, о чем я плачу сейчас. Ты плохо разбираешься в самом себе. А я? Я тоже была очень недоверчива! Как? Ты меня любил, Проспер, ты меня любил! Ты мне это повторишь сто раз, мне так нужно на это надеяться! Все это разбило меня.

Париж, 2 декабря 1832.

...Эти стихи, которые тяготят твое сердце, наполняют теперь и мое сердце сожалением о том, что я их написала. Я повторяю тебе чистосердечно, что они родились из нашей природы: это — музыка, вроде той, что сочинял Далерак; это — впечатления, которые я нередко подмечала у других женщин, страдавших у меня на глазах. Я говорила: «Я, на их месте, испытывала бы то-то и то-то»; и сочиняла одинокую музыку. Видит бог.

Париж, 10 декабря 1832

...Я проснулась, прижимая к сердцу голову моего мальчика. Мне снилось, будто он сбежал, чтобы повидаться со мною, он плакал, а я осыпала его ласками...

К СЫНУ

Рун, 23 апреля 1831

Твое письмо очень нас обрадовало, мой дружок! Отчего я не могу расцеловать тебя сама, в награду за то, что ты такой, каким должен быть, и стараешься оправдать заботы твоего учителя, которого я не устаю благословлять! Твое усердие и послушание утешают меня в нашей тягостной разлуке. Как меня радует, мой милый сын, что ты исполняешь обещание и стараешься, таким образом, отплатить г. Фруссару за все, чем ты ему обязан! Когда-нибудь ты поймешь, как бесконечно ты должен быть ему благодарен. Где бы ты мог лучше научиться быть честным человеком и хранить невинность сердца? И как он умеет усладить для тебя исполнение долга! Если бы ты знал, мой ангелочек, каким умилением наполняет меня эта мысль! Отплати ему за меня твоим повинованием и любовью к нему. Так как тебе не суждено обладать никаким иным богатством, кроме честности, то надо, чтобы хоть это богатство было прочно и огромно. Твой отец и твой дед заложили тебе в душу его зачатки;

кто бы мог развить их лучше, как не лучший из людей, сделавший тебя своим учеником и Эмилем? ... Никогда не исцеляйся от отвращения ко лжи; честных лжецов не бывает. Никогда не обещавай того, чего ты не можешь исполнить. Люби оказывать одолжение, заботься о том малом, что тебе принадлежит, а в особенности о том, что принадлежит другим, не касайся его самовольно. Заимствуй лишь то, что ты можешь в точности вернуть, и пусть чистота украшает всю твою жизнь. В ней — невинное увеселение бедного. ... Никогда не позволяй себе насмешки. Самая тесная дружба от нее страдает. Мы перестаем верить в любовь того, кто посмеялся над нами. Это великая горечь ради малого торжества!

К ВАЛЬМОРУ

Париж, 5 июня 1833

... Так перестань же думать, будто это твоя звезда делает такой печальной мою звезду; не то ты вызовешь во мне угрызения совести, напоминая мне как раз обратное, — или мало с нас настоящих огорчений, чтобы их еще выдумывать!

Париж, 6 января 1834, вечером.

... Как, ты подумал о моей обуви, мой добрый Проспер! Уверю тебя, эта мысль меня тронула, тем более, что она как раз встретилась с нашими собственными рабочими планами для наших долгих вечеров. Лина¹ вяжет тебе рукава, и я нарочно ходила купить для этого шерсти. Для нас обеих отрада — заботиться о тебе...

К СЫНУ

Париж, 8 декабря 1833

Мой дорогой Ипполит! Сколько поделуев и нежности в этих трех словах: мой дорогой Ипполит! Милый мой дружок, мне кажется, что, написав их, я насказала тебе целое письмо!

¹ Одина, их дочь.

... Глаза у меня больше не болят, но я слаба. Работа моя превышает то, что я в силах сделать. Мы, может быть, не останемся в Париже, несмотря на усилия, которые мы прилагаем в виду твоего будущего и будущего твоих сестер. Ниточка надежды у нас еще остается...

... Следующее наше письмо, мой добрый ангел, тебе скажет, удалось ли нам устроиться в Париже. Твой отец хотел бы оставить театр...

Ты будешь слушать тиканье часов, которые мы тебе посылаем, и думать о том, как бьется мое сердце за тебя. Ты у меня в самой глубине сердца, дорогой мальчик! Напиши нам, как только получишь эту коробочку.

К ВАЛЬМОРУ

Париж, 2 февраля 1834

... Когда ты примешь твердое и окончательное решение относительно лионского ангажемента, независимо от того, получишь ли ты, или нет, приглашение во Французский Театр; я займусь моим отъездом, потому что, повторяю тебе, твое отвращение делает и мне противным этот парижский заработок, и я не вижу для будущего никаких преимуществ от самопожертвования, которое сделало бы тебя несчастным. Ты же знаешь, что я совершенно так же понимала в свое время твой ужас перед возвращением в Лион; ты недостаточно убежден в моей глубокой покорности твоей воле, дорогой Проспер. Чем я могу быть довольна в жизни, когда твое положение ложно и идет в разрез с твоими вкусами? Ты слишком беспокоишься обо мне. Какой-нибудь угол, дети, чернила и бумага, и мне всюду будет одинаково хорошо, лишь бы мне позволили дышать!

Париж, 25 апреля 1839

Я чувствую, как ты приехал. Я присутствую, из глубины разлуки, при твоём пробуждении без меня. Я знаю,

что это очень грустно, да! Я все знаю. Я тебя жалею, я плачу и люблю тебя вот до чего!..

Если бы ты знал, как бедные дети по тебе скучают! Разве ты не видел, что у них в сердце? Разве у тебя, в твоих суровых испытаниях, нет хотя бы того огромного утешения, что тебя любят? С этим сознанием нельзя быть слабым. Я прошу тебя об одном: береги себя ради нас; будь счастлив, если хочешь, чтобы я могла дышать и терпеть.

26, утрели

Целую тебя от имени Мольера, которого я только что видела во сне. Он с нами обоими премило обедал в хорошеньком домике, который был твоим. Ты был доволен, а я, можешь сам посудить! Он попросил у меня одно из моих колец и, отправляясь работать, поцеловал меня в лоб. Я его просила объединиться с Дюма и основать театр; зная, как ты его любишь, я была уверена, что тебе там будет хорошо. Он улыбался нам и отвечал только, что у него очень много работы.

Мне бы хотелось переслать тебе этот сон таким же мирным, каким он был. Погода стала, как будто, лучше. Я попытаюсь съездить за город. Впрочем, все внешнее мне так безразлично! Нет, дорогой мой друг, счастье не может проникнуть сквозь эту грудю горечи, которая давит мне сердце, когда тебя нет.

29 апреля 1839

... С тех пор, как ты уехал, я все не могу совладать со своим изнеможением. Ложиться, вставать — невыразимо тоскливо. Увы, мое дорогое дитя, если бы мы могли как следует заглянуть в свою душу перед тем, как принести известные жертвы, хватило ли бы у нас, по правде говоря, мужества на них согласиться? Не то же ли самое думаешь и ты, бедный друг? Но я умоляю тебя, гони от себя такие мысли. Твое счастье для меня гораздо важнее

чем мое! Чего бы только я за него не отдала, великий боже, если бы могла!

Орлеан, май 1839.

... Я не могу тебе передать всей красоты собора; из него нельзя выйти, разве только, чтобы полюбоваться им снаружи. Какая жалость, что тебя нет со мной, что ты не можешь свести меня туда! Какая жалость, что я не умею рисовать, чтобы дать тебе представление об этом чудесном корабле, чьи паруса — сквозные крылья, вроде тех, которые поддерживают в воздухе Миланский собор. Время идет, и я забываю его с тобою...

Орлеан, 14 мая 1839

... Наряду с отрадой услышать от тебя такую дорогую для меня похвалу книге, у которой другого успеха не будет, ты будишь во мне чувство глубокой скорби, спрашивая меня, не жалею ли я, что вышла за тебя замуж... Знаешь, Вальмор, ты меня вырываешь из себя, когда считаешь меня таким мелким, таким пустым и таким визким созданием. Подозревать во мне какие-то честолюбивые мечты, какие-то сожаления, вызванные жадностью или завистью к светским удовольствиям, это значит терзать мне сердце, которое полно лишь тобою и желанием сделать тебя счастливым. Я бы с радостью последовала за тобою и в тюрьму, и на чужбину, ты это знаешь, а такие мысли, на мое несчастье, осаждают тебя всякий раз только после чтения жалкой мази, которой я стыжусь, когда сравниваю ее с теми прекрасными произведениями, что ты меня приохотил читать. Поэтому скажу тебе просто, истинно и перед богом, что на земле нет человека, с которым я хотела бы быть связана теми узами, которые соединяют нас. Все их характеры внушали бы мне только ужас. Или мало я тебе это повторяла, чтобы убедить тебя? Но увы! видно, правда: «Чужого сердца не увидишь».

Париж, 23 июня 1839

... Если в моем небольшом таланте, который я теперь ненавижу, ты станешь находить основания для того, чтобы терять рассудок, то где я найду прибежище моему сердцу? Оно всецело твое. И если поэзия отравляет единственное мое счастье, наш союз, то она лишь чудовище. Я говорила тебе сто раз, и повторяю опять, что я писала много элегий и романсов по заказу, на определенные темы, и некоторые из них вовсе не предназначались к тому, чтобы увидеть свет. Наша бедность распорядилась иначе. Немало слез и жалоб Полины выразилось в этих стихах, которые тебе нравятся и которых на самом деле первый автор — она. Но затем наша жизнь была такая нелегкая, такая одинокая, такая независимая и такая торопливая в то же время, что я, сознаюсь, не уделяла особо глубокого внимания изготовлению этих книг, которые ваша участь заставляла нас продавать. Вся твоя снисходительность к таланту, которым я бы совершенно пренебрегала, если бы ему не придавало цену твое одобрение, не может меня утешить в тягостной мысли, которую он во мне рождает. Мольер был прав, Руссо верно говорил, и, видно, мадам-музель Ленорман тоже не ошиблась, когда сказала мне тоном оракула: «Не пишите никогда». Ты видишь, мой добрый ангел, что я права, когда не испытываю ни тени удовлетворения от того, что марала бумагу вместо того, чтобы шить нам сорочки, которые я, однако же, всегда старалась держать в порядке, ты сам это знаешь, дорогой спутник жизни, никому не бывшей в тягость.

Париж, 10 июля 1839

С какой любовью я себе рисую, как ты шьешь себе ток, дорогой мой друг! Какую удивительную написали бы о нас биографию, если бы видели нас во всем нашем бедном мужестве!..

22 июля 1839

... Никому не говори, когда я приеду, чтобы ни м побыть одним! хотя бы день! Скажи, мой добрый ангел, есть ли у тебя диван, где бы ты мог прилечь, днем? Я все время думаю об этом, бедный, добрый друг мой! Господи, чего только я не мечтаю подарить тебе!..

Париж, 2 августа 1839

... Нет, ты не ворчун, и я понимаю, что твои замечания проистекают, все и всегда, из чудесной чуткости, которую я редко в ком вижу... Я люблю тебя! а, под этим, я тебя уважаю страстно...

... Ты видишь, я никогда сама не побуждаю твоих детей писать тебе, в этом отношении у меня та же гордость сердца. Я жду. Нет, нет! я ничего на свете не придумываю для нашей привязанности друг к другу. Я уже не строю себе иллюзий, но все же я глубоко верю в сердце Ипполита; оно пригвождено к нашему навсегда...

Париж, 13 августа 1839, вечером

... Ах, среди всех, кого я теперь знаю, какую я чувствую нежность к тебе! Видно, нужно было расстаться, чтобы еще больше полюбить друг друга! Спокойной ночи дорогой Проспер! Я иду спать, с сердцем, полным тобою. Спи хорошенько. Люби меня, любящую тебя одного.

Париж, 8 ноября 1839

... О, мой дорогой друг, почему ты не хочешь больше смеяться? Оставь эту суровость злым. В жизни есть прелесть и солнце, пока в ней есть любовь. Кто это сказал: «Ничего не остается в жизни, кроме бывшей любви»? Так твоя дорогая рука ответит на пожатие моих рук?

Париж, 25 ноября 1839

... Нам кажется, что дети гораздо прочнее привязываются к месту, чем то есть на самом деле: в этом воз-

расте счастье повсюду. Инеса сейчас вся — музыка, шитье и английский язык, и, уйдя таким образом в размеренные занятия, опять настроена ровно. Главное то, что она очень меня любит, так же, как и тебя, а это мы слишком забываем в их бурном возрасте...

Париж, 25 ноября 1839

... Помни одно, и это тебе поможет бороться с самим собою в том унынии, в котором ты замыкаешься, помни, что мое здоровье в твоих руках. Когда ты себя чувствуешь нехорошо, у меня начинается жар, и если ты понижаешь духом, моя душа падает еще ниже. Мы столько страдали друг возле друга, что стали словно близнецы...

Париж, 3 декабря 1839

... Я провела несколько скверных дней и, как и ты, немало печальных ночей. Это время года отнимает всякое мужество. Моя внешняя сила, ты сам знаешь, солнце. Не видя его, не чувствуя его над тобою, я считаю себя еще жесточе забытою роком, который неласков и к тебе тоже; потому что я знаю, как ты чувствителен к суровостям зимы, бедное мое дитя!...

Париж, 12 января 1840

Мне нужно быть рядом с тобою, знаешь ты это? понимаешь ты это? Я больше не в силах себя выносить, и моей души уже никогда не бывает там, куда я заставляю ходить свое тело, чтобы соблюдать эту кучу приличий, пустоту и утомительность которых ты знаешь сам. Мне невоготу этот убийственный месяц. Иногда я останавливаюсь на улице или на лестнице и плачу, что ты так далеко и так же связан, как и я еще пока. Надо, чтобы эта борьба кончилась... «Терпение, вернись на небеса!» Когда я уверена, что, придя домой, я увижу тебя,

ты сам знаешь, страшат ли меня какие бы то ни было огорчения, утомления, трудности, которые теперь меня терзают, не принося никакого утешения. Эти тиранические пустяки убивают меня, дорогое дитя, я вижу какую-то насмешку в том, что они сопутствуют нашим несчастиям. Невольница всех этих равнодушных, я, знаешь, наконец возненавижу их за то, что они развязно становятся между нами со своими визитными карточками и своими письмами, которые делают меня похожей на общественного писца. Остальное время я сижу, сложа руки перед ничтожеством моих одеревенелых мыслей. Я не могу ни начать, ни вести никакой полезной работы. Это я тебе описываю мое душевное состояние. Шить, писать, бегать, плакать в душе, с ужасом вспоминать, что я не выполняю и половины всех требований, которые со всех сторон вторгаются в мою жизнь, вот как я провожу мои дни. Я расскажу тебе когда-нибудь, если вспомню, какая туча жуков на меня обрушилась. А пока, пожалей меня, что я не вижу ни утром, ни вечером твоих рук, твоего сердца, твоих глаз, которые бы меня поддержали и ответили мне! Мы совершили героический поступок, расставшись, я это чувствую в моем изнеможении, таком мучительном!

Париж, 5 марта 1840

Это правда! Это правда! Если ты узнаешь об этом из газет раньше, чем тебя известит моя радость, верь этому и вознесем вместе благодарность за милость, которую providение изливает на нашу семью. Сию минуту, в четверг, в полдень, я получила приказ министра, г. Вильмена, который, покидая министерство, дарит меня неожиданным благодеянием. Мою временную пенсию в триста франков он увеличил до тысячи двухсот франков пожизненно. Я чувствую себя охваченной такою чистою радостью... О, как бы мне хотелось тебя обнять! и видеть тебя доволь-

ным, мой дорогой Проспер! Все это я пишу тебе второпях. Иду по делу этого бедного каторжника.

Париж, 27 августа 1840, два часа

... О, как мне сделало больно твое последнее письмо! Почему тебя так печалит прошлое, Проспер? К чему терзаться тем, чего больше нет, и смутными мучениями, от которых ты меня всегда держал далеко? Разве не было бы чудом, если бы ты избежал искушений, которые перед тобою ставили твой возраст и случайности нашей профессии? Ты безусловно самый честный человек на свете, которого я знаю, и я хочу, чтобы ты раз навсегда оценил, как должно, эти случаи, которых ты не искал и которые ничем не умалили нерасторжимости наших уз. Так оставь же в покое эти легкомысленные дни, они были неизбежны при тех взглядах, которые нам внушены... Я не сержусь на тех, кому ты нравился, дорогой мой муж. Разве не приходилось им прощать мне самой, что я твоя жена и, откровенно говоря, не заслуживаю такого счастья? Но этот союз был намечен в небесах, его желали твой отец и наши друзья, которых я всегда благодарю и буду благодарить за то, что они меня избрали; ведь я тебя так любила! Или ты думаешь, что я не люблю тебя попрежнему всеми силами души? Будь уверен во мне, дорогой друг, как в жизни, так и в смерти, и прими мою благодарность за ту нежность, которой ты отвечаешь на мою нежность; я не променяла бы ее ни на что на свете, и я радостно последую за тобою повсюду, где бог, если он будет так милостив, позволит нам жить вместе. Я заклинаю тебя найти в этом полное возмещение прошлого, чьи печальные сны для меня больше не существуют. Я тебя прошу и самому отнестись к ним снисходительно и не ненавидеть тех, кто тебя любил; да, по-моему, и трудно было иначе! До свидания.

Приди, моя дочь, я хочу тебя любить и обнять! Как хорошо ты сделала, что пришла ко мне в этом смятении, которым я удивлена так же, как и ты сама. И тебе стало легче на душе, и я спешу тебе на помощь... Только будущее покажет тебе ясно, что с тобой сейчас, а главное — разлука. В твои годы, огромная потребность любить струится в крови и в сердце. Очень часто бывает неизбежна ошибка в выборе, который всегда приписывают «неотвратимой» судьбе. Особенно в этом отношении, мой добрый ангел, необходимо тебя разубедить и предостеречь против мимолетных увлечений, которые вводят в обман столько чистых и честных сердец. Говорят: «Раз я испытываю это неведомое мне волнение, то это и есть тот, кого я ждала, чтобы полюбить!..» Дорогое мое дитя, верь моим нежным советам, ты бы обманулась и невольно обманула бы других. Избегай случаев, которые могут привести к таким испытаниям. Ты видишь, впрочем, что молодой человек, даже самый робкий, самый сдержанный и, мне кажется, самый целомудренный, становится очень смел, когда он повинуетя своему инстинкту. Отсюда столько необдуманных союзов, которые часто становятся несчастием двух наспех связанных жизней. Такие сны обходятся дорого! А когда очнешься, впереди долгая жизнь. В этом волнении, поверь мне, бывает повинна и радость молодой девушки, что она нравится, особенно если перед тем разочарование омрачило всю ее душу. Всего умнее те женщины, которые не придают особого значения этим порывам, очень обычным у всех мужчин, и стыдливо оберегают себя от них, не пугаясь и не огорчаясь, и не делая самим себе чрезмерных упреков. Не поощряй ничего. Оставайся рассудительной и естественной. Пусть тебя не смущает обманчивая жалость к тем, кто, как тебе

может показаться, будет из-за тебя страдать. Если возникает чувство истинной любви, то поверь, что молодой человек открывается родителям, иначе это с его стороны всего лишь недостойное искушение нашей стойкости, — и бог знает, к чему это приводит.

Приходи ко мне, ко мне одной! Мое сердце принадлежит тебе; оно гораздо снисходительнее к тебе, чем ты сама, но за то оно полно ясности, и тебе нечего бояться, пока ты со мной (даже в разлуке)...

К ВАЛЬМОРУ

Париж, 20 сентября 1840, утром

Вот толстое письмо! Скажи мне, дорого ли оно тебе обошлось?

Тебя не разоряют эти почтовые расходы? Не забывай про шоколад утром. О, как бы мне хотелось тебе его готовить!..

Париж, 25 сентября 1840, восемь часов вечера

... Я только что с венчания, где видела только тебя. Какие сладостные и страшные ощущения ожидают нас в жизни и в разлуке! Какие желания и какие воспоминания я возносила к богу в молитве за этого доброго Шарпантье! Я очень плакала! Я очень тебя любила, да! и я очень твоя жена.

Париж, 4 октября 1840

... Но я забываю тебя утешить, прости меня! Я совсем убита мыслью о тебе. Нет ничего хуже, чем низкие судьбы. Когда тебя ненавидят или преследуют умные люди, в этом еще есть некоторое утешение. Они, по крайней мере, отдают себе отчет в том, какое они тебе причиняют зло, а литературная тварь пишет твоею кровью и думает, что это чернила...

Я вам пишу, дорогие мои души, под звон всех брюссельских колоколов, которые перекликаются за святых и за мертвых. В Париже нет ничего похожего на эти торжества, от которых здесь качаются земля и воздух. Церкви, в которые мы заходили, были полны женщин в длинных головных уборах, спадающих им до пят. Церкви настолько напоминают Италию, что я бы отдала все на свете за то, чтобы вы их повидали. Ипполит был бы в восторге. Здесь мы сегодня видели черную богородицу и младенца Иисуса, такого же черного, как и мать. А современные сжимают мне сердце тысячью воспоминаний. Искусство тут не при чем, но со времен первых и сладостных верований я обожаю их жесткие покрывала на розовой подкладке и их неподвижные венки из батистовых цветов, таких твердых, что никакие грозы в мире не шелохнули бы у них ни листочка. — Я должна вам рассказать о картинной галлее герцога Аренбергского, куда мы вчера проникли. Какое спокойное богатство! Какое величавое безлюдие! Рубенсов там целый дождь, и обе его жены, словно ожившие под его кистью, и он сам, писанный им собственноручно; кажется, что видишь, как движутся его губы. Это истинное убежище живописи, чувствуется, что здесь она боготворима, глубоко и безмолвно. Но что вы скажете, когда узнаете, что мы видели подлинную голову Лаокоона, приобретенную герцогом Аренбергским за 160 тысяч франков? Живи я тысячу лет, я не могла бы забыть это чудо, которое меня преследует, эту голову, утопающую в муке и горестных упреках. Ее нашли венецианцы при раскопках, много времени спустя после открытия великолепной группы, подлинная голова которой так и не была разыскана. Ее вид терзает, и кажется — вот-вот услышишь крики из этого рта, разверстого судорогой душевного страдания. Видны

все зубы, обнаженные без всякой гримасы, и это придает пытке еще больше выразительности. Это не старик, как в группе, но мужчина в цвете сил и красоты, лет сорока, сорока пяти. Он плачет, и я никогда еще не видела, чтобы так плакал мрамор; чувствуется, что так должен плакать отец, который не может спасти своих сыновей. Ипполит однажды заметил, что у них слишком молодой вид для сыновей такого старика. Он увидел бы с восхищением гармонию их юных лет с его годами. Им должно быть лет пятнадцать. Но что я буду вам рассказывать? Все, что я об этом говорю, так бледно, что лучше перейти к знакомой нам действительности...

К ВАЛЬМОРУ

Дуэ, 9 ноября 1840

Я с большим волнением слушала колокол, возвещавший время моему отцу и моей матери. Я вижу издали начало нашей улыбки и прошла мимо той, где в детстве жила Альбертина. Глубокая память — вернейшая порука бессмертия. Как мы с тобою будем идти в нем рядом! У нас будет столько отложено в эту копилку! Я тебя целую, мой добрый ангел, и расстаюсь с тобою не больше, чем если бы ты был в соседней комнате.

15 декабря 1840, вечером

... Или ты думаешь, что я не испытываю нежное и грустное чувство лишения от того, что тебя нет каждую минуту со мною, даже чтобы одевать меня, как ты часто делал, с такою добротою, которая меня и трогает, и волнует!..

К ДОЧЕРИ ОНДИНЕ

Париж, 26 августа 1841

Я не хочу тебе говорить, что я чувствовала, видя, как ты уезжаешь, и на следующий день, мой добрый ангел. Твое письмо принесло мне так много радости, что я не

смею жаловаться на то, что ее пришлось купить... Лина, я люблю тебя! Я люблю все, что делает тебя счастливой...

Море для тебя то же, что и для меня. Ты его узнала, потому что видела его моими глазами, когда я была приблизительно в твоём возрасте. Разве ты не была, уже тогда, спрятана где-то в уголке у меня? Я потратила много лет на то, чтобы тебя родить. Мы с тобою — одна, дитя мое, ставшая двумя. ... Вот почему я всегда жажду, что не чувствую тебя достаточно близко к себе. Как я счастлива, что тебе нравится это море! Оно вернет тебе здоровье, я в этом уверена...

К ВАЛЬМОРУ

16 мая 1846

... Зачем ты читаешь все эти мои жеманства? Это несколько не здорово при том унынии, от которого мне хотелось бы тебя излечить. Нет, я не претерпевала всех тех страданий, о которых повествуют эти страницы. Я хочу показать тебе письма нашей бедной Полины, послужившие текстом для моих элегий, хотя основы их, это правда, лежали в моей собственной природе. Бури, о которых она мне рассказывала, я перелагала в стихи; бури знавала и я, но не жалею меня по поводу всех тех, о которых ты с умилением читаешь; а потом, мой дорогой и любимый, все эти печальные птицы уступили место сладкому душевному покою. Мы с тобой стали менее певучею жертвою более суровых злополучий! Если бы теперь наш союз освободился от ужаса нищеты, которую мы терпим вот уже год, я бы себя чувствовала счастливейшею из женщин...

Париж, 17 июня 1846

... Никогда я не жила в таком ожидании жизни. Словно я на постоялом дворе, где-то на большой дороге, и смотрю, не покажутся ли лошади. Ожидание, по крайней мере, залито солнцем. Ты знаешь, что для меня это лампада рая,

и я вижу тебя сквозь этот чудесный свет, который изгоняет все тени из моей жизни...

Париж, 12 сентября 1846

Получила твое дорогое письмо, конченное десятого. Я бы хотела ответить сразу на все вопросы, чтобы успокоить твое сердце. Прежде всего, один, всегда существенный, это — покинуть Париж, от которого я устала в десять тысяч раз больше, чем ты. Ты меня никогда не знал в этом отношении, я всегда его ненавидела. Неужели же правда не может разрушить первоначальное ложное впечатление? Я его предпочитала из чувства долга, как любящая мать, рискованным путешествиям, провинциальным неудачам. Но спокойный угол, где бы то ни было и вдали от интриг, от ошибок, от ложных освещений, от ужасных приемных, цветы на окнах и ты, спокойно, в самом неприхотливом доме, вот чего всегда будет и чего всегда было бы достаточно для моей внутренней радости. Я сказала не напрасно, и не легкомысленно, и не для рифмы: «Я не создана для света». Я сказала правду. Париж был бы для меня выносим только в том случае, если бы я видела, что вам всем в нем хорошо.

Париж, 29 октября 1846

Я бы считала себя очень виноватой, если бы делилась с тобой теми муками, которыми я здесь терзаюсь день и ночь, но разве ты не догадался о них сам?.. Ни врачи, которых я не решаюсь спрашивать, ни что бы то ни было на земле не ослепляет меня насчет того, какую огромную опасность представляет эта роковая болезнь.¹ Только взвесь, какие я пережила страхи в мои одинокие ночи, и ты придешь в ужас, или, вернее, ты убедишься в действительности моего мужества, в моей глубокой любви

¹ Болезнь Инесы Вальмор, умершей 4 декабря 1846 г. (*Прим. перев.*)

ко всем вам, которых я не хочу расстраивать своим отчаянием, и в искренних усилиях, которые я прилагаю, чтобы исполнять мой нежный и ужасный долг, не приглашая вас делить со мною слишком живо его скорбную тягость. Вот почему я так покорно отнеслась к твоему отъезду, почему я отослала к тебе Ондину, находя, что она слишком слаба для подобных испытаний. Ты знаешь все. Поэтому я ничего не прошу от этого отличнейшего г. Вэна кроме того, что он может мне дать: свое присутствие. Свой долг он исполняет; если у него и нет надежды, то он мне этого не говорит. Он приходит! И за это я его благословляю. Ты знаешь, что у меня нет никаких успокоительных заблуждений относительно врачебной науки... ..Я так тебя люблю! Я никогда не упускаю из виду, что твое сердце, нередко печальное, нуждается в моей горячей любви. Я честно забочусь о моем здоровье ради тебя, и целую тебя! сто раз в день!

Париж, 18 ноября 1846

Целую тебя от всей души! Сквозь зимнюю тьму я иду к тебе, чтобы утешить твое одиночество и передохнуть от тяжелой разлуки, такой ненавистной, что я ее переносу, сама не веря, что ее можно перенести.

Дня сегодня не было. Во всех комнатах стоял густой и зловонный туман, потому что соседние каминные трубы изрыгают к нам потоки дыма. Нельзя даже посидеть у камелька, потому что приходится все отворять настежь. Я тебе сообщаю все эти местные подробности, не решаясь опечалить твое сердце подробностями болезни, которая всех нас держит на цепи и вся полна всевозможных неожиданностей. Частый сон, нередко повелительный аппетит не уменьшают разнообразных страданий этой прелестной девочки. Ее возмущение против доктора, такого доброго! против лекарств, которые он прописывает, прорывается

иногда самым удручающим образом. Тогда у нее появляются такая сила и энергия, что я бываю совершенно озадачена. Сегодня утром мы украшали ее комнату, перенесли туда мой письменный стол, который я ей уступила равно как и кресло, которому она радовалась несколько дней подряд. Но что явно ее раздражает, так это кровать Ондины, на которой я сплю рядом с нею. Бедная маленькая ревнивица, в своей неприязни к сестре она придирается ко всему. Г. Ван говорил мне вчера, что, когда этот ее теперешний кризис минет, ее душевное состояние станет опять спокойным. Странное дело! В ее болезни бывают ощутимые изменения. Часто она говорит обыкновенным своим голосом и ест, как будто бы была здорова; притом и спит она лучше, чем за все эти три года. . . . Но мне так хотелось бы укрыться в твоих объятиях, которые столько раз меня охраняли, мой дорогой и любимый муж!

. . . Г. Бальзак написал вчера нашей маленькой больной сердечное письмо, прислал ей фруктов, вина, цветов и сообщил ей, что приложит все усилия, чтобы вернуть нам тебя, и самым серьезным образом. . .

ПОСЛЕ СМЕРТИ ДОЧЕРИ

Париж, 20 февраля 1847

Мой друг! Так как ты один на свете, ты один можешь меня утешить, то я прошу тебя об этом во имя всех прошлых горестей, во имя моей твердой и неизменной воли нести их из любви к тебе, я прошу у тебя в тысячу раз больше, чем жизнь, я тебя прошу любить меня! Ты только одним способом можешь мне это доказать, дорогое мое дитя, одним: это — великодушно пережить вместе со мною этот переходный миг и сделать для меня то, что я сделала для тебя одного, потому что ты для меня зараз и друг, и возлюбленный, и муж, и брат, и отец, и дитя. И вот, сказав это, поклявшись в этом из самых недр своего существа, я прошу тебя о том, что оградит

меня от моего отчаяния, я прошу тебя об единственной поручке, которой я верю и которой мне будет достаточно, которая позволит мне прийти в себя, но дай мне ее! дай слово принадлежать себе, как я тебе принадлежу, жить для нас обоих и для дорогих существ, которые тебя любят до обожания, и постараться сделать для них будущее ясным, а не ужасающим. Если ты прижмешь к сердцу нашу святую, ты будешь плакать, ты пожалеешь о том, какая буря меня сотрясает, ты обнимешь меня, как слабейшую свою половину, ты обогатишь меня этим честным словом, которого я у тебя прошу и которое истинная честь тебя обязывает мне прислать. Не медли!..

Перечитывая твоё письмо, мой добрый ангел, я вижу, что ты как будто сомневаешься в моем твердом решении сократить наши расходы, чтобы рассчитаться с долгами, к чему я стремлюсь не меньше твоего, и я занята этим каждый день. Отнесись ко мне со вниманием и положишься на меня, как ты положился бы на своего отца и мать. Я буду тебе говорить всю правду, а затем мы будем поступать, по обоюдному соглашению, так, как ты сочтешь лучше, чтобы успокоить наши сердца. О, пусть они будут одно! Не покидай меня! Прости меня, если я упустила какую-нибудь нежность, если я недостаточно тебе сказала, что буду рада поехать куда угодно, но только с тобою! Как? Я вся еще живу твоими ласками, а ты мне пишешь так? Ты, такой добрый, такой великодушный, такой самоотверженный? Великий боже! что бы ты сказал, если бы я или твой сын так тебе написали? Ты бы этому не поверил. Да разве же ты не подумал о том, что я пойду за тобою куда угодно!.. И что ты от меня видел, кроме любви, скажи, мой добрый ангел, чтобы подумать, будто я могу остаться... О, это первый раз, что ты разрываешь мне сердце! Словом, запомни хорошенько: с тобою я все перенесу, но без тебя — ничего!

... Итак, дорогой любимый, возвращайся ко мне, не возобновляя твоей брюссельской каторги, или же дай мне ожить, приехав туда к тебе! Умоляю тебя, или одно, или другое. От твоего решения будет зависеть мое счастье.

Скажи! Разве ты ни во что не ставишь свою обязанность спасти мне жизнь? Она в твоих руках, и я думала, что ты понял, каких мне стоило усилий сохранить себя для тебя, после постигшего меня удара. Неужели ты, самый честный человек, какого я знаю, неужели ты не считаешь, что перестал бы быть честным человеком, усвоив ложный взгляд, потому что, поступив ужасно с нами обоими, ты ничего бы не исправил и сверг бы наших детей в последнюю нищету, не говоря уже об их отчаянии? Под каким странным влиянием ты мне писал, ты, который бывал ко мне таким нежным, что боялся, как бы меня не изувечило дверцей дилижанса! Ты хочешь меня убить, покинув меня... Ведь я твоя жена, твоя бедная жена, и ты должен мне вернуть моего мужа, которого я на коленях вымаливаю у тебя!

Я отошлю тебе это письмо, не дожидаясь воскресенья, я бы хотела поехать к тебе вместе с ним, я в такой растерянности, душевной и телесной, что ничего не понимаю. Жизнь моя дорогая! Ты во всем себе отказываешь ради меня, и еще беспокоишься, что слишком мало мне присылаешь! Хоть в этом отношении успокойся, у меня хватит на все, даже на переезд.

... Пиши же мне сюда и будь уверен, что твои письма мне, во всяком случае, сразу же перешлют. Не оплачивай их, потому что у меня есть, чем за них рассчитаться.

Как пламенно я жду твоего ответа! Да внушат его тебе небо и любовь, чтобы вернуть жизнь твоей жене и нежному другу

Марселине Вальмор

Я о стольком забыла тебе сказать, о всяких хлопотах и предположениях. Я шлю тебе только мою душу. Не оттолкни ее, ты совершил бы преступление.

Париж, 23 февраля 1847

Твое последнее письмо я ношу у себя на сердце, как перевязку на ране. ...Такое слово, как твое, уравнивает и искупает все ложные клятвы, которыми нас обманывали. Ах, мне легко простить всем, когда моя жизнь опирается на твою совесть!

Париж, суббота, 13 сентября 1851, 8 часов утра

... В силу привычки говорить с тобою, когда я одна, будь то здесь, будь то на улице, мне всегда кажется, что ты меня слышишь, и в эти бумажные листочки я далеко не укладываю всего того, что мне хотелось бы тебе рассказать про сердце, которое живет вечно с тобою. Так же и благодаря необходимости писать ежедневно по три или по четыре письма, более или менее дружеских или же деловых, я иногда поверяю тебе одно лишь слово, которое, как мне кажется, раскрывает меня всю, и оставляю затаенными целую тысячу, которые вслед за тем превращаются во вздохи и слезы. Да, очень часто то, что я тебе не высказываю, я выплакиваю. И это не всегда печаль, мой дорогой любимый, любовь так богата ощущениями! Словом, бери все у источника, который твой, и если ты, при твоей правдивости, в которую я верю, как в бога, говоришь мне, что жалеешь о том, что не начал свою жизнь со мною, то я отвечаю тебе перед ним, что это и моя заветнейшая мысль.

БУДНИ И ГОРЕ

Бесперывное злополучие, с восхитительным мужеством преодолеваемое горе ее жизни раскрывается в приводимых здесь письмах. Они рисуют нам отчаяние вечно гонимой судьбою и в то же время говорят о том, с какой чудесной щедростью, посреди собственных страданий, Марселена Деборд-Вальмор помогала всякому чуждому горю. Было бы легко умножить такие примеры, как ее невзгод, так и ее добрых дел, но уже и из этих отрывков перед нами отчетливо встает глубоко выстраданный и вознесенный до чистойшей человечности трагизм ее героической жизни.

К БРАТУ

5 сентября 1816

...Я бы тебя обманула, мой дорогой друг, если бы сказала, что мое бедное разбитое сердце снова привязывается к этому миру, такому печальному теперь для меня. Нет, ничто, ничто не сможет заполнить эту пустоту, которой нельзя выразить, настолько я ею подавлена; но только моему рассудку уже, повидимому, не грозит опасность полного расстройства, как этого боялись и другие, и я сама. Жизнь кажется мне теперь такой длинной, она была так жестока со мною!.. Нет, я не могу передать словами всего того, что меня мучит, или, вернее, той единственной боли, которая день и ночь давит мою грудь и мое растерзанное сердце.

Папе лучше. ...Ведь я же только ради него нашла в себе решимость продолжать играть! Это наибольшая из жертв рассудка, которую я когда-либо приносила...

2 января 1817

Еще не поздно, мой дорогой Феликс, обнять тебя со всею нежностью сестры и друга? Все дни, все месяцы похожи друг на друга для тех, кто любит, а ты же знаешь, что я люблю тебя от всего сердца. Потерпи еще немного с моим портретом, мой друг, ты теперь уже скоро его получишь. Если образ сестры, образ несчастного создания, может удовлетворить твою дружбу, ты будешь доволен. Твое письмо меня очаровало. Ты, повидимому, спокоен насчет своей участи; эта мысль немного утешает мое печальное сердце, и мне бы хотелось обнять тебя за то, что ты дал мне испытать чувство, похожее на радость. ...Какой год завершился для вашей бедной Марселины! — и то что, он у меня похитил, уже никогда не будет мне возвращено, мой друг, нет, никогда уже в этом мире! Надо ждать конца пути, такого длинного для меня! Мой дорогой сын, мой милый мальчик облегчал мне его трудности. Ни один ребенок так не заслуживал обожания своей несчастной матери, оплакивающей его каждый час. Помнишь ты его? Какой он был красивый! какой он был добрый!

К ДЮПЬЕЛЮ ¹

Бордо, 24 мая 1826

...Вы теперь знаете одну из глубоких моих горестей. Судьба моего брата, вот уже пятнадцать лет, для меня — тайная и дорогая, незаживающая рана. Никакие мои усилия, никакие мои слезы не могли исправить пагубных

¹ Вначале мировой судья, затем библиотекарь города Дуэ, принявший, когда только он мог, участие в тяжелом положении Феликса Деборда.

последствий, к которым привел первый его жизненный поступок. Четырнадцать лет он пошел в солдаты, чтобы помочь бедствующему отцу, и вся его молодость протекла на войне, в плену, на шотландских блокшифах; все это нанесло жестокий вред его душевному и телесному здоровью. Хотя это один из людей, которых я люблю больше всего на свете, не только потому, что он всегда был мне дорог, но и потому, что он добрый и несчастный, я все же с трепетом решаюсь его рекомендовать, при всем его праве на сострадание честных людей. Неуравновешенность его головы, ослабевшей от долгих бедствий, мысль о погибших надеждах и о том унижении, в котором он оказался, действуют на него иногда с такой силой, что он впадает в отчаяние и идет бродить без всякой цели, без всякой помощи. Я по целым месяцам ничего о нем не знаю, я пишу всюду, я сгораю от беспокойства, и наконец он мне пишет, обращается ко мне, как к единственному своему другу. Я и действительно его единственный друг, с тех пор, как я себя помню, но я бессильна вернуть ему потерянное счастье, которое нередко зависит не столько от нас самих, сколько от готового положения, заранее созданного детям родителями.

...Так как сама я тоже бездомная, и у меня трое маленьких детей, и существую я только работою моего мужа, обремененного, к тому же, стариком отцом, который делит с нами нашу скитальческую жизнь, то Вы легко поймете, что я лишена счастья богато одаривать моих несчастных родных. Я посылаю брату по двадцать франков в месяц, которые, я, по крайней мере, надеялась, могли обеспечить ему содержание в какой-нибудь лечебнице или в военном госпитале, пока не увенчаются успехом мои хлопоты о помещении его, если возможно, в Дом инвалидов, в Париже. Повидимому, он ушел из госпиталя, ничего не дождавшись, и вот я опять в великой тревоге.

...Говорили, будто мне назначили пенсию. Я получила от одного министра письмо, где он извещал меня об этом, об этом было даже в газетах; но до сих пор ничего нет. Я так мало ее заслуживаю, что не жалею о ней, так же, как никогда на нее не надеялась и не домогалась ее. Вам я об этом говорю для того, чтобы Вы были вполне точно осведомлены о моем печальном положении. Однажды, четыре года тому назад, меня уже вычеркнули из этого пенсионного списка (куда я была внесена тайным благоволением кого то могущественного) на том основании, что ни один актер не может притязать на эту милость.

Словом, если бы Вы могли подействовать тому, чтобы мой несчастный брат получил какую-нибудь маленькую должность, которую он мог бы отправлять в своем почти немощном состоянии, Вы оказали бы мне несказанную услугу, которая как нельзя более способствовала бы моему спокойствию.

К Ж.-Б. ЖЕРЖЕРЕСУ ¹

Лион, 29 ноября 1831 ²

Ваши взоры обращены к Лиону, дорогой Жержерес. Ваше сочувствие ко всему человечеству должно быть сейчас глубоко омрачено состраданием. Если бы я начала изображать все мучительные подробности, у меня бы не

¹ Адвокат при королевском суде в Бордо, близкий друг семьи Вальмор.

² 21 ноября 1831 г. в Лионе вспыхнуло восстание рабочих, занятых в шелковом производстве. Вызвано оно было резким понижением заработной платы, и без того скудной, и отказом предпринимателей вернуться к прежнему тарифу. Девиз на черном знамени восставших гласил: «Жить работая или умереть сражаясь». Национальная гвардия отказалась действовать против рабочих, а регулярные войска, потерпев неудачу, покинули город. После этого порядок не нарушался. 3 декабря герцог Орлеанский вступил в Лион во главе тридцатитысячной армии, не встретив сопротивления. (*Прим. перев.*)

хватило сил кончить. Вы все поймете из немногих слов. Мы снова видели кровавую июльскую панораму, ужасный оттиск тех трех страниц, написанных пулями. Сколько безвинных смертей! Вся моя семья невредима. Но, боже мой, сейчас заказывают столько траурных платьев, что падаешь на колени от удивления, что сама его не носишь! В этом огромном восстании политика была не при чем. Это бунт голода... Женщины кричали, кидаясь под выстрелы: «Убейте нас! Мы хоть перестанем голодать!» Раздалось два-три возгласа: «Да здравствует республика!»

Они, вот уже пятый день, хозяева в Лионе, и в нем царит такой порядок, как никогда. Под звуки набата, барабанной дроби и выстрелов, под жалобные крики умирающих и женщин, мы ждали грабежа и пожара, если бы они оказались победителями. И ничего! После битвы, ни одного хладнокровного преступления. Они сорвали свою ярость на нескольких ственных часах, на мебели и занавесках, сожженных в двух-трех домах наиболее богатых фабрикантов, откуда имели неосторожность стрелять из окон. Войска жестоко пострадали, хоть и отступали, вскинув ружья на плечо. Жители окраин приняли эту человечность за ловушку, и устроили избиение. Пало триста солдат! Рона была вся красная. Эта несчастная национальная гвардия отказалась стрелять первой в рабочих, которые громко требовали всего лишь работы. Но человек десять, двадцать неосторожных гвардейцев открыли огонь... Тогда все смешалось и слилось: женщины, дети и наконец весь народ, перешедший на сторону рабочих, мужество которых тем более неслыханно, что они были изнурены голодом, в лохмотьях.

Какое зрелище! У меня сжимаются зубы, пока я пишу. Ровно месяц тому назад восстание пронеслось по городу мирною волною, без оружия, без криков. Их принимают; их выслушивают; соглашаются на небольшую прибавку,

о которой они молят. Раздаются радостные крики. Вечером эти несчастные люди, в знак благодарности, зажигают иллюминацию. Они устраивают серенаду властям и негодянтам. Неделю спустя этот тариф отменяют. Над ними глумятся. Один фабрикант имеет глупость грозить жалобщику пистолетом, говоря: «Вот наш тариф!» Тогда огонь охватил головы и сердца этой огромной части Лиона, и последовало восстание.

Театр третьего дня опять открылся. Я не решаюсь говорить Вам о наших бедствиях перед лицом стольких бедствий и тяжких страданий. Ждут герцога Орлеанского, но он уже со вчерашнего дня под Лионом, и все не входит. Каковы же их намерения? Все, казалось бы, тихо и спокойно. Чего они ждут?.. Говорят, будто они хотят вступить с внушительными силами, но это лишнее, если они собираются все простить... А если собираются наказывать, боже мой! я предпочла бы умереть, лишь бы не видеть новых жертв!

К ФРЕДЕРИКУ ЛЕПЕТРУ ¹

Лион, 15 февраля 1832

...Вы хотели бы знать, по природе ли я печальна, или почему я такая. Трудно в немногих словах разъяснить столько загадочного. Каждый из нас носит в себе свою книгу, полную противоречий. Что ни день, в ней оказывается какая-нибудь новая фраза, которая удивляет нас самих. Я говорю образно, потому что, желая Вам ответить, я впадаю все в большую грусть. Если моя мысль остается наедине с собою, она плачет. Когда я говорю, я не такая. Тогда я принадлежу текущему впечатлению, я сочувственна с тем, кого я слушаю, и проникаюсь его впечатлениями. Вы увидели бы меня очень веселой, если бы сами были

¹ Главный секретарь мэрии г. Марселя; женатый на знакомой Марселины, он много лет переписывался с поэтессой, не зная ее лично. Со временем, у них завязалась глубокая и верная дружба.

тоже веселы. Когда я одна, я принадлежу прошлому; чем больше оно мне сделало зла, тем сильнее оно меня притягивает...

...А то вдруг у меня бывают легкие, лучезарные, невинно блаженные дни, дни вновь обретенного детства. Я бываю счастлива от пустяка; и никогда не бываю несчастлива наполовину. Но даже и счастье, если бы оно еще было для меня достижимо, никогда бы не могло устоять при виде чужого страдания. Я тогда поневоле отрешаюсь от собственной судьбы, чтобы войти в судьбу несчастного, чтобы испытать все ее муки. Мое сердце как бы пронзено слишком острой жалостью. Я не могу Вам передать, чего только я не выстрадала из-за других и до какой степени поседели мои густые волосы, хотя по годам им было бы еще и рано...

К ВАЛЬМОРУ

Париж, 2 февраля 1834

... Но куда бежать, чтобы побыть наедине с собою, чтобы укрыться от этого зуда нас видеть? Переменим что ли, имя, потому что ты сам видишь, что даже в Лионе у нас не будет ни уединения, ни покоя... Люди, необходимость говорить действуют мне на нервы. Ты настолько меня заразил, что всякий звонок вызывает во мне болезненное содрогание...

... С кем бы переслать тебе твою роль в «Фальеро»? По почте, это страшные деньги...

К МАДМУАЗЕЛЬ МАРС.

*Лион, 6 мая 1834*¹

Что вы с нежностью вспоминали обо мне в эту кровавую неделю, этого я не забуду. Ваше письмо очень меня взволновало. Я Вас любила всю свою жизнь, и если бы

¹ Лионское восстание в апреле 1834 года носило, в отличие от волнений 1831 года, уже не только экономический, но и политический характер республиканского движения. Оно было подавлено

меня убили, как это должно было случиться, Вы лишились бы сердца, которое, как ничье другое, проникнуто Вами и всем Вашим очарованием. Впрочем, я знаю лучше, чем кто бы то ни было, что Вы добрая и правдивая, и Ваша заботливость меня не удивила. Здесь все было ужасно. После шести с половиной дней набата, пожаров, бессмысленной резни (ведь убивали женщин, стариков, детей) и шести еще более жутких ночей,—когда, насмотревшись на все, что только может вынести человеческий взгляд, мы то и дело ждали, что взлетим на воздух в наших домах,—мы все таки оказались живы, и нам было словно жаль, что мы пережили эту великую грозу, где было бы так просто со всем покончить, где грохот колоколов, ружей и пушек заглушал чувство жизни. Я трижды испытала неудержимую жажду получить выстрел в сердце, чтобы уйти от этой бойни... Еще долго будет сочиться кровь, моя добрая Ипполита! Я встречала такое только в книгах. Но мне суждено, я чувствую, увидеть еще много печального, потому что могу Вам сказать, что смерть несколько раз брала меня за руку и отпускала... Я была там, где велит долг, возле моего мужа, среди моих детей; лучшего конца не могло бы быть. Приходится начинать с начала, я жалею об этом, но у всякого из нас есть возложенная на него задача. Вы знаете, что я стараюсь выполнять ее со смирением.

К КАРОЛИНЕ БРАНШЮ ¹

Лион, 6 сентября 1834

Бывают ощущения, о которых писать нельзя, Каролина.

Ответить письмом на такое письмо, как твое, до того недостаточно, что ты так никогда и не узнаешь, как

с большой жестокостью. В эти дни Марселина Деборд-Вальмор ходила по городу, помогая раненым и семьям убитых. (*Прим. перев.*)

¹ Знаменитая в свое время артистка Парижской оперы (1780—1850). (*Прим. перев.*)

много оно во мне вызвало волнения, счастья и печали! Чтобы последовать порыву моего сердца, мой добрый ангел, надо было поехать и поспешить к тебе, взять тебя за руки и смотреть на тебя! Только это утолило бы наши сердца, мое — в его глубокой благодарности, твое — в его нетерпеливой доброте.

Каролина! Такая женщина, как ты, могла бы быть удовлетворена только присутствием той, которую ты хотела видеть, чтобы ее утешить. — Да, я это и сама понимаю, и никто не может знать тебя так хорошо, как та, которая тебя так любила! Два слова скажут тебе все, и почему я не еду, и почему я остаюсь в таком мучительном положении. Я не свободна.

Мой муж, которого твое письмо тронуло до слез, человек цельный, непоколебимый в своих неприязнях. Он ненавидит Париж; ничто его не переменит, и, при этом, знаешь? утешать его в этой мании, которая нас губит, приходится мне же. Потому что втайне он сознает, что разрушает и свое, и наше будущее, но его дикость берет верх, и он не хочет, чтобы я показывала, что мне это тяжело. Всякий человек, в глубине своей, необъясним, Каролина...

К Ж.-Б. ЖЕРЖЕРЕСУ

Лион, 17 февраля 1835

... Послушайте мою внешнюю жизнь. Я заболеваю, я думаю, и люблю, и волнуюсь внутренне всем тем, что мне хотелось бы сделать для порядка в доме, для его благополучия, и молю бога продлить мне жизнь. Затем я неделю выздоравливаю и начинаю двигаться; затем неделя полного здоровья, деятельного, как здоровье птицы, и за это время я возмещаю мое вредоносное отсутствие из этого мира. Наконец, все в порядке, все разобрано и разложено, одежда детей, мужа, жены, бумаги, письма, счета... Я дышу! Завтра я смогу выйти; мне

так советуют двигаться! Несмотря на туман, я пойду чуточку воздуха. И вдруг мною овладевает глубокое изнеможение, сердце стучит так, что я задыхаюсь, и я снова падаю, унылая и недвижимая, от руки врага, всемогущество которого вполне сказывается только в Лионе, городе всех скорбей, непроходимом болоте для тех, у кого слабы ноги. Жержерес, таков мой удел.

... Дети мои ходят в школу. Я вечно одна, если только они не больны. Моя маленькая Инеса только что перенесла корь, и мне было бесконечно хорошо за нею ухаживать. Это деятельное бодрствование сменилось взнурительной бессонницей. Мне подошла бы только жизнь первых христиан. Скитания, бдения, пустыня и мученичество, быть может. О, что делается с живым человеком, которого держат за решетками! Жержерес!.. до чего ненавистны мне тюрьмы! И разве сама земля не тюрьма? Когда я прохожу мимо часовых у наших темниц, я на них смотрю такими глазами, чтобы они в меня выстрелили, но теперь им разрешается убивать нас только ночью.

К ВАЛЬМОРУ

Сен-Жан-ле-Вье, 25 июля 1835

... За всю мою жизнь мне не случалось проводить такую ночь, как та, что привела меня сюда. Нас было восемь человек внутри, Инеса и обе мои корзины у меня на коленях, на плече у меня какая-то женщина, лейки, тюки с мылом, шесть шляп, подвешенных к сеткам, всюду зонты и гигантские ноги, пятнадцать человек на империаде; в конце концов мне пришлось слезть и пройти, сколько возможно было, пешком, чтобы не задохнуться в этом тесном чулане. Будь спокоен, обратно я возьму передние места.

К ФРЕДЕРИКУ ЛЕПЕТРУ

Лион, 14 июля 1836

... Была одна надежда, озарявшая мои смиренные и одинокие дни: отмена смертной казни. ... Мне все время

казалось: вот-вот я услышу, что это многолетнее желание осуществлено. Но это неправда, это не будет правдой. Нет милосердия, нет искренней жалости; есть только головы, которые падают, есть только матери, которые вопят в напрасном отчаянии. Я бы хотела умереть, чтобы не слышать больше. Когда я вижу эшафот, я готова уползти под землю, я не могу ни есть, ни спать. Галеры! Боже мой! Из-за шести франков, из-за десяти франков, за вспышку гнева, за горячее, упрямое мнение... А они, богачи, власть имущие, судьи! Они идут в театр, после того как сказали: «Казнить!» Я несчастна. Такое уж у меня сердце, а я живу напротив тюрьмы, на площади, где привязывают людей, к этому столбу, печальнее гроба!

К АНТУАНУ ДЕ ЛАТУРУ¹

Лион, 15 октября 1836

... Подробности, которые Вам хотелось бы знать об этой подвижной и уединенной жизни, сводятся к весьма немногому. У меня лихорадка, и я путешествую. ... Я бы с восторгом изучала поэтов и поэзию. Пришлось удовольствоваться одними мечтами об этом, как и о всех благах этого мира. Через несколько месяцев я покидаю Лион со всей моей семьей и еще не знаю даже, куда я понесу их жизнь и мою, которая, казалось бы, должна была бы не выдержать всех этих тревог и однако же выдерживает. Эта хрупкая жизнь словно нехотя прокралась на землю, под перезвон революции, которая закружила ее в своем вихре. Я родилась у ворот кладбища, у дверей церкви, где вскоре разбили святых. ... Чтобы не останавливаться слишком долго на воспоминаниях, полных прелести для меня, но излишних для вас, я прилагаю «Дом моей ма-

¹ Поэт и переводчик Сильвио Пеллико, собиравшийся издать статью о чтимой им поэтессе.

тери», где мое сердце пыталось выразить эту несчастную и пленительную страсть к родному краю, который я насильственно покинула, когда мне было десять лет, чтобы никогда больше его не видеть... Я этого боюсь. Таким образом, при всей Вашей благожелательности, Вы не могли бы писать обо мне, не изобразив меня весьма невежественным и весьма бесполезным созданием. Несколько песенок разве стоят того, чтобы мною занимались и включали меня в книгу знания? Я ничего не знаю. Я ничему не училась. С шестнадцати лет у меня лихорадка, и те, кто меня немножко любит, уже нераз оплакивали меня, как мертвую, до того я им казалась неживой. Я долгое время была удивлена и огорчена тем, что страдаю, потому что жила очень одиноко, хотя моя профессия внешне и легкомысленна. Я считала всех других счастливыми, я не могла решиться не быть счастливой. Теперь я знаю, что и другие тоже страдают. Это сделало меня более печальной, но зато гораздо более безропотною. Моя жалость получила новое содержание, а мои надежды— новую цель. Они направлены выше, и я стараюсь туда подняться.

К ПОЛИНЕ ДЮШАНЖ¹

Лион, 24 декабря 1836

Ты печальна! Не будь печальна, мой добрый ангел, или хоть выпрямись под этим бременем страданий, которые я понимаю, которые я разделяю. Все унижения, выпавшие в этом мире на долю женщины, я испытала. Мои колени все еще сгибаются, и голова моя нередко поникает, как и твоя, от все еще горьких слез! Но, Полина, послушай: в нас все-таки есть нечто независимое от всех этих ран. Прежде всего — прощение. Это—безмерное облегчение для сердца, разрывающегося от горечи...

¹ Композиторша, автор романсов на слова Марселины Деборд-Вальмор, близкий ее друг (1778—1838). (*Прим. перев.*)

... Что с нами будет, все еще невозможно предугадать. Я иной раз не решаюсь лечь, потому что боюсь незанятой мысли. Днем я ее убиваю или заглушаю хлопотами по хозяйству, детьми, писанием или уборкой нашего тесного жилья. А ночью, ты сама знаешь, бежать некуда. И вот я грущу, я в полной власти мучительного сердцебиения. Я ничего не получаю, я ничего не знаю. Я ни на что не надеюсь, и я боюсь этого разорительного 1-го января. Для нас это бездна, которая разрушает все мои хитрости, направленные к тому, чтобы обмануть нужду. А потом, ты себе представляешь Лион под водой и снегом! Лион без работы, и тридцать тысяч рабочих без хлеба и огня, которым, под трубные звуки, присылают 50.000 франков милостыни с высоты трона, то есть с высоты провидения этих бедняков! — Увы, это меньше, чем по два франка, брошенных их ужасающей нужде! Неудивительно, что нищенство заглядывает даже под наши темные крыши. И приходится давать, Полина, давать или умереть от жалости.

... Неужели правда то, что ты пишешь про г. де Виньи и про то, какого он мнения об этих «совсем фламандских» стихах? Уж я и сама не знаю, как я создана, но при таких неожиданностях я плачу и думаю о том, о чем мне не хотелось бы думать. Единственная душа, которую я хотела бы попросить у бога, не пожелала моей. Какая ужасная боль в сердце, до самой смерти! — Ты это знаешь, ты?

К АНТУАНУ ДЕ ЛАТУРУ

Лион, 7 февраля 1837

... Ах, боже мой, Вы сама любовь, сама доброта, само сострадание! Вы удивительно умеете обходить ошибки или создавать для них извинения, и я плакала от благодарности, потому что все, что я пишу, должно быть, на самом деле, чудовищно несообразно, слова не те и не на

своем месте. Мне было бы стыдно, если бы я над этим серьезно задумалась; но где мне найти время? Я не встречаю ни одной живой души из того литературного мира, который образует вкус, очищает язык. Я сама себе единственный судья, и как мне уберечься, когда я ничему не училась? Однажды в моей жизни, но недолго, один человек огромного таланта любил меня немного, и когда я начала приводить в порядок мои стихи, он мне в них указывал неправильности и вольности, которых я не замечала. Но привязанность этого пронизательного и смелого человека только промелькнула в моей жизни, и мы разошлись в разные стороны. Я ничему с тех пор не научилась и — сказать Вам по правде — даже не хотела научиться...

К МЕЛАНИ ВАЛЬДОР¹

Лион, 9 марта 1837

... Весь Лион пригнулся под темными крыльями. ... Что за год! Тридцать тысяч рабочих без хлеба, которые бродят, в холод и грязь, по вечерам, обмотав лицо тряпкой, и поют голодные песни!.. Я не могу Вам передать всего, что разрывает мне душу, — судите сами. Нет, нет, Париж не знает таких зрелищ, таких состояний, таких долгих, ничем неприкрытых бедствий. — Ах, власть и мушкетеры не должны бы допускать, чтобы голод так глубоко проникал в такое множество рабочих семейств! Знаете, лионский народ, который изображают буйным и злым, прекрасный народ! ... Я сойду с ума или стану святою в этом городе. ... Мелани, не смеешь ни есть, ни быть в тепле, посреди стольких несчастий.

¹ Французская писательница, автор стихов, романов и театральных пьес (1796--1871). (*Прим. перев.*)

К ВАЛЬМОРУ

Париж, 3 июля 1837

... Хочешь, я вышлю тебе денег? Иначе, как же ты вернешься, разве что я принесу тебе к прибытию дилижанса, когда буду тебя встречать в день твоего приезда?

К АНТУАНУ ДЕ ЛАТУРУ

Париж, 23 декабря 1837

... Беспорядочность этого стихотворения объясняется главным образом тем, что я его писала в лихорадке и в глубокой печали. Этих стихов я не могла петь, как я это делаю почти со всеми остальными, пробуя их слогать на любимые напевы, которые поневоле вынуждают меня к большей правильности, без отступлений. Рассказывая Вам про свою бедную работу, я, в конце концов, начну и самой себе отдавать отчет в таких подробностях, на которые я никогда не обращала особого внимания. Моя жизнь, мое время, мои силы и действительность, все это движется так быстро, до того полно всевозможных забот, что я все оставляю на волю божью, которая все приводит в порядок, а на этот раз — на Вашу, потому что Вы бескорыстный наставник, которому я верю, настолько, что даже за такое драгоценное письмо благодарю Вас только много спустя после того, как обратила его себе на благо...

К КАРОЛИНЕ БРАНШЮ

Милан, 6 августа 1838

Ты бы этому никогда не поверила, моя дорогая Каролина, да мне и самой все еще не верится. Нас охватила такая душевная боль, когда мы скрепили наш отъезд из Парижа, чтобы пуститься по путям и дорогам в Италию, что с Вальмором чуть не сделался удар. Мы смотрели друг на друга, словно онемев, и в пятьдесят часов уложились, сделали прощальные визиты, отдали на хранение мебель, устроили будущее моего сына, которого мы покидали с отчаянием, а затем, Каролина, канули в дилижанс, мой

бедный Вальмор, я и обе мои дочери, разбитые усталостью и удивлением, удивлением признаюсь тебе, очень похожим на страх. Но другой страх, опять остаться без места, заслонил от нас опасности подобного путешествия, и мы доверились провидению, ибо так судила бесстрастная воля г. Веделя. ... Это бездушный и непорядочный человек. Он не сдержал своего слова, которое, как он говорил, дороже письменного обязательства. Но не о нем хочу я с тобою говорить.

... Вот мы и в Милане, куда и мадмуазель Марс придет на один месяц играть. Из-за коронационных торжеств, которые здесь предстоят, цены на все невозможные. Комната, дыра, стоит пятьсот, шестьсот франков в месяц, окно на улицу — тысячу экю за семнадцать дней. Посуди сама, как мы живем при этих разорительных условиях. Хотя мой муж и должен получать семь тысяч франков, наши переезды и пребывание здесь приведут к тому, что мы вернемся во Францию еще более разоренными, чем уехали.

... Я, как видишь, Каролина, повиновалась течению и своему долгу. Я не могу сказать «нет», когда Вальмор решил, и так как ему была нестерпима мысль опять остаться без места, то я печально покорилась его новой участи...

К ПОЛИНЕ ДЮШАНЖ

Милан, 19 сентября 1838

Больше говорить не о чем, мой дорогой ангел. Несчастье нам уже не грозит, оно случилось. Все подробности ты узнаешь от мадмуазель Марс, которая тоже пострадала.

Надо ли мне что-нибудь добавлять, чтобы растерзать тебе сердце? Мы даже не знаем, как мы доберемся до Лиона и не придется ли еще Вальмору, из деликатности, остаться в Италии вместе с этими несчастными актерами,

которым не на что выехать. При этой мысли я прихожу в отчаяние, потому что если жуть ожидает нас во Франции, где мы, с началом зимы, окажемся без пристанища и без места, то посуди, что нам предстоит в этой чужой стране, как не нищета со всеми ее ужасами. Я задыхаюсь.

Милан, 20 сентября 1838

... Вальмор ужасно страдал, но он никогда не утешится, что не показал нам Рима. А мне, знаешь, чего жаль в этом прекрасном Риме? Незримого следа, который там оставили его шаги, его голос, такой молодой тогда, такой нежный всегда, такой вечно властный надо мною; я бы просила у Рима только это видение: — его не будет.

К МИНИСТРУ МАРТЕНУ

Париж, 1 января 1839

Послушайте меня немножко!¹ Потому что я со смесью дерзости и боязни прошу из Ваших великодушных рук немедленный подарок к новому году: два месяца прощения для бедной матери, заключенной в Сен-Лазаре, где Вашему имени уже вторит не одно мягкое эхо, возносящееся очень высоко, господин министр. Позвольте этой бедной женщине пойти пожелать счастья своим детям!

К ВАЛЬМОРУ

Париж, 21 апреля 1839

... После такого потрясения, единственное счастье, которое я могла бы вкушать, была бы полная свобода. Ее нет нигде, мой добрый ангел...

К КАРОЛИНЕ БРАНШЮ

Париж, 29 мая 1839

... Я вернулась, чтобы усердно работать, несмотря на жгучую потребность в отдыхе и одиночестве. Ты не можешь себе даже представить, чего мне стоило покинуть

¹ *Acouitè m'on reo!* — местное наречие. Министр и Марселина Деборд были земляки.

Орлеан и чего бы я не дала, чтобы туда вернуться и жить там, дожидаясь встречи с мужем. ... Но я должна быть возле сына, должна раздобыть пятьсот франков, чтобы молодой итальянец, о котором я тебе говорила, мог вернуться к своей семье. Все его покинули, и остаюсь только я, только моя бесплодная, но неизменная воля помочь ему, и это будет. Сердце у меня упрямее, чем рассудок. Разве не ты подаешь мне всегда пример сострадания? Я сделаю то, что сделала бы на моем месте ты...

К ВАЛЬМОРУ

Париж. 21 февраля 1840, утром

Напрасно я рассчитывала окончить мое письмо вчера. Одна дама, которую я когда-то видела в Бельгии, явилась без дальних слов, когда я была в рубашке, чтобы попросить меня, чтобы я дала ей письмо к мадамгизель Марс, чтобы... я и сама не знаю, что. Все эти милые любопытные приводят меня в бешенство, и ты на моем месте убежал бы на крышу. Это какой-то жестокий дух, уверяю тебя, мучит меня булавочными уколами.

Париж, 6 марта 1840

Я писала тебе только о счастливом событии, совершившемся в нашей судьбе, ¹ мой добрый ангел, и у меня не было времени сообщить тебе какие-либо подробности. Вчера, благословенный день! После этой новости, которой я с тобой поделилась, я имела счастье обезоружить, в пользу молодого каторжанина, его дядю, тетку и мать. Все они плакали вместе со мною и сдались. Они согласны просить о нем, как того требует закон, чтобы начальник этого мрачного дома мог ходатайствовать об его помиловании. Я тебе все это расскажу, когда мы будем вместе и успо-

¹ Назначение пенсии.

коимся от наших бурь. Главное было унять гнев этой озлобленной семьи, и это сделано! Ах, я была почти на небесах вчера, когда выходила из этого дома! И яркое солнце, и твое возможное возвращение, и твои разбитые цепи! Да, я провела чудесный день вдали от тебя, во твою, для тебя!

К ИПОЛИТУ

Лион, среда, 21 октября 1840

...Вчера, во вторник, 20 октября, твой отец получил твое письмо и приложенный к нему рисунок, дорогой мой сын. Он благодарит тебя и разделяет твое преклонение перед Микель-Анджело. Как много в этом мире счастья, когда обладаешь самым смиренным и в то же время самым великим из них, — восхищением! Оно утешает во всех горестях и окрыляет бедность, которая таким образом возносится превыше вадменного богача.

К ВАЛЬМОРУ

Париж, 20 декабря 1840

...Я написала больше сорока писем со времени моего возвращения и проводила ночи над стихами, которые у меня просили по случаю лионских несчастий. Сегодня вечером их читают на концерте г. Гертца, и из-за этого концерта я бегала целую неделю, в дождь, снег, холод и самую лютую зиму, какую только помню...

Париж, 24 декабря 1840

...Я стряпаю, как могу, романс для г. Кампенгаута,¹ но у меня нет ни минуты покоя; все приходится делать на ходу, на улице.

25 декабря 1840

... Если мое письмо тебя еще застанет, то вот единственное, что я тебя умоляю привезти мне из Брюсселя. Ты узнаешь у Софи адрес Виллема, того или сына того

¹ Бельгийский композитор (1779 — 1848). (Прим. перес.)

который делал нам наши обручальные кольца, и купишь у него для меня маленькое колечко, и попросишь доброго финистерского кюре освятить его. Ты можешь вызвать Виллема к себе, через добрую Софи. Я тебе не говорила, что дорогое мое кольцо было продано в Руане, вместе с заложенными вещами. У сестры не хватило денег, чтобы продлить условие. Она мне так ничего и не ответила об этом, но я догадываюсь, и теперь я прошу у тебя новое кольцо, как подарок, необходимый для моего счастья. Я чувствую, что минута сейчас для тебя не очень благоприятная, но мне оно будет тем дороже и благословеннее.

К ДОЧЕРИ ОНДИНЕ

12 октября 1841

...Первые холода, вынужденные концы по городу и моя судьба снова вызвали эту лихорадку, которая часто меня одолевает и которую, тоже часто, принимают за причудливость нрава, потому что тогда я становлюсь серьезнее, чем всегда, и не в силах говорить. Великое искусство — уметь делать так, чтобы тебе прощали страдание. Если бы ты могла им владеть, дорогой мой ангел! Потому что ты уже знаешь, что можно быть очень больной, не ложась в постель и не лечась.

К КАРОЛИНЕ БРАНШЮ

Париж, 12 января 1842

Какая ты добрая, Каролина, и до чего сама ты плохо знаешь, какое глубокое ты мне оказываешь благо, когда даешь мне убедиться, что есть еще на этой земле создание подобное тем, которые нам снятся в самые лучшие дни нашей жизни! Все, что я любила, когда я тебя услышала и поняла впервые, обмануло меня, как и ты была обманута. Теперь обе мы — на рии любви, как нас называли тогда. Но, ты, по крайней мере, всегда заставляла меня верить дружбе, и когда я думаю о том, чем ты была для меня, два ручья слез текут из моего сердца, которое

иной раз кажется мне иссякшим. Да, Каролина, проливая свою душу на мою жизнь, ты меня поднимаешь из великого изнеможения, потому что иногда я бываю совсем обессилена.

К ФРЕДЕРИКУ ЛЕПЕТРУ

5 февраля 1842

...Ну, так вот: все свои женские способности, всю свою изобретательность, все, что можно придумать в смысле слов и умолчаний, я употребляю на то, чтобы скрыть эту великую и смиренную борьбу от моего дорогого мужа, который не вынес бы ее и неделю. Ценою моих унижений я спасаю его гордость, и только в той жизни он узнает, какими невинными хитростями, какими слезами, оставшимися между богом и мною, я до сих пор скрывала от него печальную тайну хлеба, который еще ни разу не отсутствовал на столе ни у него, ни у наших детей. И от холода они тоже не страдали.

К КАРОЛИНЕ БРАНШЮ

Париж, 23 апреля 1842

Мне было невозможно рассказать тебе, каких только я не перенесла мучений. Я так терзаюсь, видя мою дочь больною! Мне так грустно видеть эту страдающую молодость и не понимать, что с нею! А ты знаешь по собственному горькому опыту, как тяжело жить вдали от своего ребенка. ¹ Я уже не решаюсь в чем бы то ни было на нее воздействовать, потому что она не питает ко мне ни малейшего доверия. Становясь взрослыми, наши дети начинают смотреть на нас, как на докучливых руководителей и, хоть и любят нас попрежнему, но относятся с улыбкою к нашим советам. О, какая горестная перемена! И сколько матерей признается мне в этом. Впрочем раз уж я утратила свою нежную власть над Ондиной,

¹ Ондина в это время лечилась в Лондоне у доктора Кюра.
(Прим. перев.)

я знаю, что ей нигде не может быть лучше, чем на глазах у твоей дочери и в доме доктора Кюри, который находит, что ей хуже, чем в первый приезд, и ты знаешь, мой добрый ангел, что моя благодарность равна моему горю. Оно велико.

К ФРЕДЕРИКУ ЛЕПЕТРУ

Руан, 9 июля 1842

...Этот город, совершенно средневековый, для меня весь утыкан воспоминаниями, жесткими, как железные острия. Мне было пятнадцать лет, когда я в него вступила впервые, с одной из моих сестер и с моим отцом; это было, когда я вернулась из Америки. Тут я была маленьким идолом этого еще дикого народа, который ежегодно приносит в жертву двух или трех актеров, как некогда быков. Мне бросали букеты, а я, придя домой, умирала от голода и никому об этом не говорила. Отсюда и из-за чрезмерной для такого возраста работы, — шаткое здоровье во всю последующую грозную жизнь.

К ПОЛИНЕ ДЮШАНЖ

10 февраля 1843

...Твое представление о г. Баяре — обманчивый сон. ...Нет, Полина, в этих сердцах ничего нет для нас. Теперешние богачи являются к вам и рассказывают о своих несчастиях с таким глубоким простодушием и с такими горькими жалобами, что поневоле приходится жалеть их гораздо больше, чем самих себя. Он мне расписывал прошлый раз, какие у него ужасные затруднения с домом, который он строит. Он должен был ему обойтись в сто тысяч франков, кажется, а теперь смета возросла вдвое, а тут еще воспитание сына, так что он прямо-таки теряет голову. ...Что сказать об этих счастливых? Что у вас всего только две рубашки и нет простынь? Они вам ответят: «Ах, какие вы счастливые! Вы ничего не строите!»

Хоть я и не знаю, почему происходит задержка с прощением, но похоже на то, что из-за этого великого социального кризиса нигде нет денег. Здание, рухнувшее в феврале, было настолько расшатано вверху, что, падая, увлекло за собою многое и многих! Бедный народ, удивительный в своем мужестве, и на этот раз достиг только того, что умер за своих детей, которым, быть может, пошлет благословение кровь их благородных отцов! Мы принадлежим к народу, своими несчастиями и своими убеждениями, дорогой мой брат; будем страдать, как он, будем надеяться, как он. — Его опять обманули, это — благородное ослепление, славное воспоминание, несбывшаяся вера...

Париж, 28 июня 1849

...В Париже произошли такие мрачные события, что это опять было похоже на какую-то другую жизнь. Если ад существует, он нам приоткрылся. Смерть метала стрелы повсюду. Никто ее не видел, и люди падали... Я едва стою на ногах после гибели стольких друзей и зрелища улиц, полных похоронных шествий, где провожавшие не всегда возвращались домой!... Я уверена и была уверена, что ты был слишком хорошо осведомлен об этом великом бедствии, чтобы не испугаться за нас. А мы не знаем, куда бежать, чтобы поспеть во время: нас звали во столько мест, где ждали наших слез и наших утешений. После такого ужасного испытания и всех его бичей, нескоро приходишь в себя, мой добрый брат, — спрашиваешь себя, вполне ли — жизнь то, что в тебе осталось живого. Нет, душа у меня слишком растерзана, и однако именно потому я чувствую яснее, чем когда либо, что это то в нас и не умирает. Сила и глубина наших страданий свидетельствуют о неразрушимом сознании, которое хочет, которое ждет, которое получит счастье. Я стараюсь объяснить тебе это,

как могу, переставая, быть может, на минуту страдать из жалости к самой себе и изображая тебе очень несовершенно те светлы, которые нам являет наше будущее...

Денежные невзгоды, унижения нищеты действуют не так, на меня, по крайней мере. Так как я сама смотрю за хозяйством, то поглощающие заботы о должном выполнении этой обязанности лишают меня той сосредоточенности, которая наступает после ужаса непоправимых потерь. — Как часто я теперь думаю о моей матери! О том, сколько она когда-то выстрадала ради нас, ради того, чтобы накормить свое бедное и беспечное маленькое стадо!..

У меня была литературная работа, — говорила я тебе? — стихи на заказ, работа трех месяцев, днем, вечером, почти что ночью, когда остальные спали, усталые от своих работ; так вот, когда я должна была получить условленную плату, ожидаемую, как воду с небес во время холеры, этот человек отрекся от уговора и хотел заплатить мне только половину. Я ему ничего не отдала... быть может, когда-нибудь еще продам, — но какой удар! Как надо жалеть и всех других работников! Кто и когда любил их такой печальной любовью, как я? Никто, разве только наш чудесный отец и мама... Да, я видела里昂ских рабочих, я вижу парижских рабочих, и я плачу о рабочих всего мира. Драпье теперь из их числа, и мы тоже!

Физически мы не столько страдаем, сколько душевно, от всего, что делается, и от наших личных невзгод. Одина много работает, как и ее добрый брат. Мой муж еще неизвестно, когда устроится. Франция удручена и угрюма...

К ПОЛИНЕ ДЮШАНЖ

Среда. 27 ноября 1850

...Составь себе, если это возможно, верное представление о горькой подавленности моего мужа. Он так оскорблен презрительным покоем, на который он осужден,

в цвете сил и сменяемый потребностью работать, что этого не скажешь никакими словами, уверяю тебя. Когда у него не хватает духу выйти куда-нибудь или читать, я сажусь возле него и шью, поддерживая, чем могу, эту расшатанную судьбу, которая никого не трогает... Но писать я не в состоянии. Мысль моя слишком серьезна, слишком отягчена, и я не могла сочинить заказанную повесть. Ведь я же, действительно, пишу сердцем, оно слишком изранено для детских картинок.

К МЕЛАНИ ВАЛЬМОР

Париж, 21 февраля 1851

Вы все такая же добрая и жестокая, что говорите мне о вечерах, мой друг. Разве что-нибудь во мне изменилось с той поры, когда я так боялась слова: вечер! Нет, не мне бросаться в музыку, которая все воскрешает, и в незнакомые лица, самая благожелательность которых повергает меня в дрожь. Или Вы забыли нашу борьбу из-за этого, мои дикие бегства, и есть ли хоть один человек в Париже, который мог бы сказать, что видел меня там-то или там-то после того, как я имела мужество воспротивиться Вашим милым настояниям? Я осталась унылой, быть может, навсегда, Мелани, потому что, действительно, часть моей жизни умчалась! — Конечно, серьезное счастье Одины задевает и меня несколькими лучами солнца, но солнце не там, где вечера, милая женщина; оно для меня в задушевной беседе с таким добрым сердцем, как Ваше, которое меня всегда любило и которому я отвечала тем же. Я пойду, почти одновременно с этим письмом, сказать Вам все, что столько раз Вас обезоруживало. Вы знаете уже давно, что мой дорогой Вальмор,

Брат, Супруг и Повелитель,

не такой человек, чтобы противоречить мне по части уединения. Для него, если бы не существовало монастырей, их надо было бы изобрести. И он всюду устраивает

себе таковой, где только есть четыре стены и книги, которые можно поглотить.

Молодежь — дело другое; у них есть крылья и Ваши заманчивые приглашения. Пусть себе идут, сколько им угодно. Счастью других я рада всегда.

Будьте счастливы и Вы, и пусть я это знаю, и пусть мне будет позволено думать, что поэтому-то Вы такая и добрая.

Ах, добродетели легки сердцам счастливым!

Не забывайте также, что сердцам растерзанным верная дружба необходима.

К ДЮБУА¹

Париж, 28 мая 1851 г., 10 час. утра

Сквозь терзания моего сердца, которое так близко к Вам сейчас, я Вам отвечаю. Я умоляю Вас, не переставайте быть тем же; действуйте за меня, угадывайте меня. Вы знаете, с какою огромною нежностью я относилась к моему бедному брату... с какою я отношусь! нет! ничто не меняется... Сделайте все, что надо, чтобы почтить моего дорогого и несчастного солдата. Я Вам отплачу за все, в смысле денежных расходов, и, сверх того, глубокою благодарностью. Мой отец, наш чудесный отец, погребен в Sain, или Sin... Мне бы очень хотелось, чтобы Феликс был рядом с ним, как он о том меня просит в моей душе. Все будет мною оплачено. Позаботьтесь о моих бедных письмах, таких грустных и таких нежных, об его бумагах, Вы мне их сохраните, Вы, который знаете, что я очень страдаю и вижу много страданий. Я плала эту смерть капля за каплей; я чувствовала, что он страдает, хоть мне об этом и не было сообщено. Последние его письма меня мучили. Они были как бы еще отчаян-

¹ Управляющий богадельней в Дуэ, трогательно заботившийся о старом Феликсе Леборде, который там провел свои последние годы.

нее, а моя бедность приковывала меня к месту. Вы не можете себе представить теперешних наших трудностей... Он о них догадывался, не видя от сестры никакой ласки, и это горе, быть может, его убило!..

Вот уже второе звено моего сердца разбивается за последние восемь месяцев. Я скрыла от него смерть нашей дорогой сестры, в Руане. Я боялась его взволновать... Семья наша — печальная.

...Понимаете ли Вы эту мучительную боль! Настолько обеднеть, чтобы не иметь возможности предохранить его до конца от опасностей воображения! Мысль о том, что я так разорена, наверное, тихо убила его, а я не могла больше его обманывать, тогда как требовалось так мало для того, чтобы уверить его, что мы ни в чем не нуждаемся!

Ах, как бесконечно печален этот мир!

Я вас умоляю, распорядитесь поставить отличительный крест над моим первым другом и цветы на могилу, цветы круглый год. Я их буду поддерживать, пока могу... Все его письма полны Вас, полны утешений, которыми он Вам обязан. Дайте ему и это утешение от моего имени, чтобы я могла прямо к нему прийти. Я так все время откладывала исполнение моего желания съездить в Дуэ, что он больше не верил в это. Увы, я приеду, но слишком уже поздно для него!..

К ПОЛИНЕ ДЮШАНЖ

1 сентября 1852

Я не могу прийти к тебе сама с одной радостью, которою спешу поделиться с тобою, дорогая моя Полина! Мой милый Вальмор получил место. Да, это не сон.

...Место очень скромное, но вполне по его вкусам, и почетное, в библиотеке на улице Ришелье. Таким образом, я остаюсь с тобою. ...Я люблю тебя.

К Ф.-В. РАСПАЙЛЮ¹

Париж, 17 февраля 1853

Вам остается только благословить несчастную мать, склоняющую колени перед решетками вашей тюрьмы! Все кончено! кроме безмерного сожаления, что Вас не было возле нее, чтобы ее спасти.

Позже, я вам напишу. А сейчас я могу только просить Вас простить меня, что я бросаю Вам мое окровавленное сердце. Но она свободна!

Ваш друг везде и всегда.

К ЛУИЗЕ БАБЕФ²

Париж. . . 1853

...Мне пришлось посвятить мои силы приисканию квартиры или чего-нибудь в этом роде, потому что сейчас люди спорят из-за места, где бы дышать. Как мне Вас жаль, если и на Вашу долю выпали утомления и трудности, которые испытала я, чтобы приобрести, наконец, право жить в почтенном сточном желобе, куда нам придется забраться, чтобы остаться в числе жителей Парижа. Цена невероятная за этот угол, куда ведут девяносто пять ступеней так называемой служебной лестницы. Тысяча франков за этот закоулок...

К ПОЛИНЕ ДЮШАНЖ

28 ноября 1854

Нас тяжело постигает судьба, моя дорогая Полина. Ты сама можешь судить, насколько я тебя люблю, по всему тому, что я решаюсь тебе говорить, хоть это и тебе может сообщить мою печаль. Она велика сейчас.

¹ Ф.-В. Распайль, известный химик, врач и политический деятель, был приговорен в 1849 г. к пяти годам тюремного заключения. Этим письмом Марселина Деборд-Вальмор извещала его о смерти своей дочери Ондины (12 февраля 1853 г.). (Прим. перев.)

² Внучка знаменитого социалиста, автор детских повестей, близкий друг Марселины Деборд-Вальмор. (Прим. перев.)

Как мне больно от трубных звуков, с которыми сейчас проезжают пушки!..

19 апреля 1856

Не беспокойся, если я не заходила к тебе все эти дни, мой добрый ангел. Я вынуждена к покою после сильного потрясения, которое очень на меня подействовало. Я расскажу тебе подробно, чем вызвана сейчас эта крайняя слабость у меня в голове... Как я о тебе думала! о том, что ты выстрадала из-за г. де Шампиньи. Разве мы с тобою не два тома одного и того же сочинения? Ты все поймешь из двух слов. После шестнадцати лет молчания дочь госпожи Браншю вдруг пробуждается, как громовой удар, и требует немедленно сумму в... исчисляемую ею, с процентами из расчета пяти годовых... и все это тоном трехпалубного корабля, вступающего в бой. Удивление и ужас поразили меня всем тем, что ее имя воскрешает ужасного в моей жизни, больше, чем самое требование денег, и это, когда у меня не было двух су, чтобы отправить тебе письмо! Сколько я бежала, чтобы найти хоть тень их!.. В ночь на понедельник у меня было кровоизлияние в голове. Я думала, что настала последняя минута этой жизни. Доктор сказал, что этот припадок очень мне помог, но ты представляешь себе, какая за ним следует слабость, ты, мой дорогой близнец во всем!..

9 января 1857

Пять дней тому назад, когда я мечтала, что у меня хватит сил сходить к тебе и ответить тебе лично на твое последнее письмо, очень сильная, совершенно неожиданная простуда принесла мне такую лихорадку, как никогда. Моя дорогая! Невозможно тебе передать, в какое унылое отупение все это меня приводит. Я даже не знаю, переживала ли я когда-нибудь подобные дни. Надо думать, что

да, потому что я всегда много страдала, но я слишком разбита, чтобы отдавать себе отчет в чем бы то ни было.

...Почему тебя удивляет, что ты такой молодой возвращаешься в прошлое? Разве мы не вечно молоды? Нет ночи, чтобы я не видела моих детей в своих объятиях, у себя на коленях. Да, это они! Я утверждаю, что эта любовь, которую ты чувствуешь вновь в самые грустные и самые неожиданные часы, есть часть тебя самой, и что тогда ты просто видишь ее отражение... Она была пламенной, не жалея об этом. В этом и есть смысл того, чего ты не могла объяснить себе тогда. Это твоя душа продолжает следовать своему стремлению бессмертно любить.

1857

...Вчера обе эти принцессы явились, чтобы силою увести меня обедать. Ты знаешь, как я ненавижу обедать в гостях. Вместо ответа, они застали меня в постели. Какая насмешка в наших судьбах! У меня в ящике лежал один франк к началу месяца, и Вилхельм была в ярости... А эти милые дамы говорят: «Госпожа Вальмор так хорошо умеет устроиваться». У жены ее сына пятьсот тысяч дохода.

Четверг, 3 декабря 1857

Как чудесна твоя доброта! Писать, зная, что я не могу тебе ответить, моя Полина! Как удивительна твоя нежность в это ужасное время! Зато как я тебя делю от души! Ни одна мелочь из того, что тебя окружает и мучит, для меня не безразлична. Самые волнующие слова в твоём письме, это: «Мне лучше!» О да, это кусочек неба. Я знаю, много бывает бурь на малом пространстве, даже среди честных людей. Только любовь их умиротворяет, и у тебя есть эта любовь. примени ее!

205

Ты видишь... я не могла кончить. Я думаю о тебе... и молчу, чтобы страдать без воплей. Я живу в невозможном. Я ничего уже не знаю о действительной жизни, если только это жизнь. Дорогая моя душа, я могу только обнять тебя и набросать беспорядочно о том неизменном чувстве, которое привязывает меня к тебе. Мои страдания невыразимы. Я нигде не нахожу места.

Добрый ангел дорогой, не приходи. Береги себя. Это преступление перед теми, кого любишь, — не заботиться о себе. Я это вижу! Я делаю, что могу, чтобы мне стало легче, но ничего... Ты права во всем, что ты думаешь об этой болезни.

Мне хотелось самой надаровать тебе это, вместо того, чтобы просить написать моего милого Ипполита. Ты видишь хоть мой почерк и имя твоей нежной и верной

Марселины.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Стефан Цвейг. — Очерк ее жизни.	
Погибшее детство	9
Актриса	13
Любовь	17
Трагедия	22
Обольститель	28
Покинутая	37
Вальмор	41
Кочевница	49
Человечность	55
Поэтесса	58
Женщина	69
Mater dolorosa	75
Уход в бессмертие	79
II. Марселина Деборд-Вальмор. — Стихи.	
Моя комната	85
Предвестие	86
Элегия	88
Розы Саади	90
Осенняя прогулка	91
До тебя	93
Письмо женщины	96
Одиночество	98
Воспоминание	100
Прощение	101
Спи!	102
Мольба	103
Психея	104
Солнцу, Италия	107
Плачущим сестрам	109
Темницы и молитвы	110
Облетевший венок	112
III. Автобиографические отрывки.	
Сент-Беву	116
Первая любовь	119
Возвращение в Европу	121
Итальянские наброски	124
IV. Письма	133

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
Ленинград, 25, Стремянная, 4. Тел. 184-61

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
СТЕФАНА ЦВЕЙГА**
АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ
Готовятся к печати томы IX и X

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на
**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
РОМЭНА РОЛЛАНА**

С предисловиями М. Горького и автора и вступительными статьями

А. В. Луначарского и Стефана Цвейга

Под общей редакцией президента ГАХН
проф. П. С. Когана

В изящных коленкоровых, тисненых золотом переплетках и супер-обложках работы М. А. Бирнарского

Условия подписки см. в проспектах, высылаемых по требованию бесплатно

**ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ КАТАЛОГ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Высылается по требованию бесплатно

